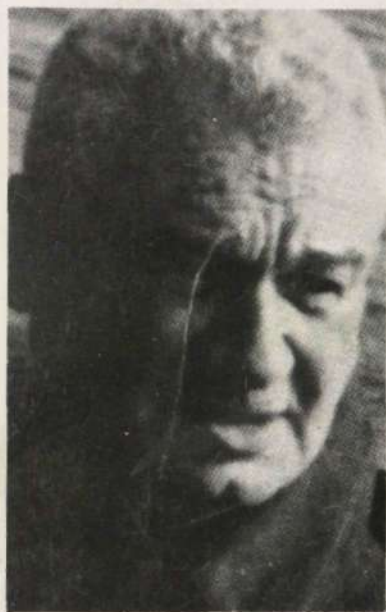


ВРЕМЯ ИМБ 39 1979



В.С. Яновский
Поля Елисейские

А. Суконик
Письма Лэвы Гормана

*В ЭТОМ НОМЕРЕ: "НОВЫЙ ДЕКА-
МЕРОН" АЛЕКСАНДРА ТУЧКОВА*

- *ИНТЕРВЬЮ С РОСТРОПОВИЧЕМ*
- *ВСЕЛЕННАЯ БЕЗ МОЗЖЕЧКА*
- *ИСКУССТВО ЗЕМЛИ*



ВРЕМЯ И МЫ

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
ЖУРНАЛ
ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ

Пятый год издания

Выходит один раз в месяц

39
1979 МАРТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВРЕМЯ И МЫ"
1979

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ВИКТОР ПЕРЕЛЬМАН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ФАИНА БААЗОВА	ЛЕВ ЛАРСКИЙ
ЛИЯ ВЛАДИМИРОВА	ДМИТРИЙ СЕГАЛ
ЕГОШУА А. ГИЛЬБОА	ЙОСЕФ ТЕКОА
ИЛЬЯ ГОЛЬДЕНФЕЛЬД	ДОРА ШТУРМАН
МИХАИЛ КАЛИК	ЕФИМ ЭТКИНД
ГАЛИНА КЕЛЛЕРМАН	

Зав.редакцией Марина МАЗИНА

Американское отделение журнала "Время и мы".

**Адрес отделения: 35 - 05 , 87 Str. , Apt. 2-F Jackson Heights
N. Y. 11372. Т. (212) 476-38-02.**

Представители журнала:

Англия	Александр Штротас Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick. Brighouse W. Yorkshire HD6 3PZ ENGLAND.
Западный Берлин	Лотар Ролл Buschkrugallee 98. 1000 Berlin 47, t. 606-77-61
Канада	Юрий Лурьи 305 Robson Hall Winnipeg. Manitoba Canada R3t 2N2 t. (204) 474 9773
Франция	Ева Иоффе 43 rue Richard Lenoir, 75011 Paris t. 379-32-87
ФРГ	Арий Вернер Postfach 50 1968 5000 Koeln, 50 West Germany

OCR и вычитка — Давид Титиевский, май 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Александр ТУЧКОВ
"Новый Декамерон" 5
Аркадий ЛЬВОВ
Тепло человеческого тела 58
А. СУКОНИК
Письма Левы Гормана 76

ПОЭЗИЯ

Яков ЗУГМАН
Дезертирую против течения 95
Раиса ИДЕЛЬСОН
Волны эфира 102
Лиля ВЛАДИМИРОВА
Хлебное вино 106

ФИЛОСОФИЯ, ПУБЛИЦИСТИКА, КРИТИКА

Борис ШРАГИН
Через индивидуализм — к универсальности. 114
Дора ШТУРМАН
Николай Бухарин — любимец партии. 130
Петр ВАЙЛЬ, Александр ГЕНИС
Вселенная без мозжечка 147

ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА

Еврейский стереотип и перевернутая пирамида 160

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Белла ЕЗЕРСКАЯ
У Ростроповича, в Нью-Йорке. 170

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

В.С. ЯНОВСКИЙ
Поля Елисейские 182

ВЕРНИСАЖ "ВРЕМЯ И МЫ"

Искусство Земли 208

Коротко об авторах 216

"Прошу вас, не шумите, афиняне, даже если вам покажется, что я говорю несколько высокомерно".

Платон "Апология Сократа".



Александр **ТУЧКОВ**

"НОВЫЙ ДЕКАМЕРОН"

1

Теперь у меня была полоса неудач. Будто бы камень, были они. Камень, скачущий с горы и волочащий за собой шлейф обвала. Я знал, что кончится все это чем-то мрачным и удушью. Но потом... Потом тихий восход и розовеющий потолок...

Так было не раз. И так было теперь.

Я пил с проституткой. Одетый в чужое лицо, я нес вздор своим языком. Я, настоящий, как зверь, был загнан в глубины Колизея и слышал оттуда рев толпы и бредовое мерцание полудня видел оттуда.

Стол, вначале чистый, сияющий скатертью и сервировкой, незаметно грязнел, обрастал объедками. Грязь медленно, но неуклонно сползала по скатерти вниз, на пол. Упорно карабкалась по ногам. Костюмы мялись и обвисали под ее натиском, рубашки теряли свежесть, съезжали набок галстуки. Наконец, она взбиралась на лица, и они покрывались красны-

Мнения, выражаемые авторами, не обязательно совпадают с мнением редакции.

ми пятнами. Гноящимся блеском зажигались глаза. Перспективы становились обратны, вещи и люди становились невесо-мы. В дьявольском хороводе закружилось все. Наклонялась надо мной проститутка. Потом убегали в окнах такси огни уличных фонарей...

И наконец, тишина. Тиканье часов. Бред кончался, проституткины ласки утихали. Я остался один. Огляделся. В разбухшей и ставшей пушистой от черного сумрака комнате плавала мебель. Жил хлам в углу. Сияло в темноте белое тело спящей. Казалось, оно парит над смятыми простынями. И тифановское золото, проступающее в белизне его очертаний. Совершенных очертаний.

Я усмехнулся. Извечно старые фокусы ночи, надоевшие фокусы. Я-то ведь знал, что проститутка некрасива и рыжеволоса, но все-таки вглядывался в ее лицо. Тщательно вглядывался, угадывая в его чертах что-то очень знакомое, чуть ли не родное.

Я досадовал на свое чувство, обычно такое точное и безошибочное. Что могло связывать меня с этой женщиной, что могло быть общим, родным для нас обоих? "Это — одиночество, — думал я, — плюс водка, и вот результат". Я опять наклонялся над спящей, и вновь волна узнавания вскипала у моих ног...

Потом я заснул. Проснулся же внезапно. Будто на поляну, залитую солнцем, попал, выйдя из сумрака чащи. Была тишина, и, конечно же, розовел потолок. Вещи уже давно бодрствовали и тихо торжествовали, отбрасывая необычные тени — необычно освещенные.

Я встал и подошел к окну, пропитанный водкой и смятый вчерашним бредом. Я подошел к окну, распахнул его... И замер. Знакомое этой ночью волнение узнавания снова коснулось меня. И блаженство очищения вдруг охватило, излившееся неизвестно откуда.

Тихо, тихо дрожал, зудел люстрой потолок от далеко пробежавшего грузовика. Первого утреннего грузовика. Пустынные улицы замерли в некоем бесконечно растянувшемся мгновении, чудовищно долгом мгновении. Мгновении от

вспышки ли другого солнца, от взрыва ли апокалиптической катастрофы.

Я узнал, что так волновало меня. За окном был двор. Обычный городской двор, и единственный. Здесь я жил в детстве. И окна напротив, мои бывшие окна.

Я вспоминал: раскалывается гроза над узким двориком, как яйцо раскалывается над стаканом. И тотчас низвергнувшиеся на бульжное дно потоки воды. Сплошной массив воды. Урчание воронок, гигантские пузыри и различная дребедень, вымытая из углов. И там, под залитой подворотней, сразу ставшей венецианским мостиком, величаво едущий по воде старый башмак...

Маленький мальчик сидит в распахнутом летнем окне. На широком, холодном и белом подоконнике сидит. Водяное буйство восхищает мальчика, ввергает его в некое жреческо-пророческое неистовство. Он кричит, поет... И теплые, притихшие глубины комнат...

В торжественной, розовой тишине я вглядываюсь в старое лицо дома, как бы в дорогие лица родителей вглядываюсь. И тут новое воспоминание озаряет меня.

Я медленно, я очень медленно оборачиваюсь. И вижу. На подушках, в ворохе огненных волос, прекрасное лицо девочки. Девочки из окна напротив.

Самым различным божествам принадлежит день. И боже-ству полуденного зноя, и закутанному в драный серый плащ боже-ству ненастья. И всем им, как время карнавала, а может, как время молитвы, принадлежит закатный час. Но утро принадлежит лишь одной розовоперстой Эос.

Вот она, эта ниша в стене дома, осененная листвой старого дерева. Истинное предназначение ее знал только я один, хотя по замыслу дворников в ней должны были храниться лопаты и ломы.

Изящная, полукруглая ниша, чуть ли не с остатками фресок, чуть ли не увитая виноградной лозой... В ней должна была стоять мраморная статуэтка Эос. Почему? Да потому, что первые лучи утреннего солнца, первые два, три луча, зародив-

шиеся там, на вспыхнувшей поверхности реки, стремительно скользили по пустой перспективе улицы и ударили в подножие стены. Вздохи в нишу и успокаивались здесь. Здесь начиналось утро. Всегда начиналось.

Я шел по улице, даже не рассуждая о том, куда улетучилось все мое вчерашнее нездоровье, настолько спокойно и безмятежно было внутри. И, как в юности, полное неощущение своего тела, складного, послушного до полудвижения. Я не ощущал своего тела, обычно саднящего где-нибудь, ноющего, либо вдребезги разбитого похмельем.

И одна лишь была печаль, всегдашняя печаль. Как удержать этот рай? Я знал, удержать его невозможно. Через каких-нибудь пару часов грянут будни, и нет спасения от них.

Лежала улица, видная далеко вперед. В перспективе аккуратного чертежа теней лежала. Пламенело окно. Осела стена. И там, где она осела, треснул асфальт и выросла трава.

В святости безлюдья и тишины необычайным туристом бродил я по необычайным руинам, руинам своего прошлого.

Я вступал под арку двора. Звуки шагов разливались звонком под сводами арки, в солнечном сплетении ее, в сосредоточении эха. Грелись на стене бесчисленные ящерицы выбоин и трещин. Дымился пустырь. Потрескивал и отогревался мусор на пустыре. Сверкало битое стекло, распуская паутину сияния. Пустырь был величествен. Пустырь был руинами из Геродотовых странствий. Пустырь был как возможность необычайного и прекрасного...

Я вошел в прохладную среду двора. Вот они, мои бывшие окна. Сколько раз я приходил сюда, на эту улицу, в этот двор. Слушал, всматривался, готовился к ощущениям, ожидал замираний. Но всегда что-то досадно мешало. Прохожие ли, галдящие ли дети, или какая-нибудь неведомая мне тетка, праздная толстая тетка, внимательно наблюдавшая за мной из окна: "Вы кого ищете, молодой человек?" — спрашивала тетка. Я бормотал что-то невразумительное, чувствуя сладость зарождавшейся ненависти. Рядом с теткой появлялся ее муж, громко кушающий что-то беловатое с вилки. Раскрывалась

еще пара окон, выходил дворник, и я поспешно ретировался, странный, подозрительный предмет обсуждения для них на весь этот день.

Раз я как-то долго бродил около, подстерегая безлюдье. И, уловив момент, вошел и стал пристально вглядываться в окна моего детства, читая в них уже начинающуюся печаль. Внезапно какая-то девчонка тронула меня за рукав, заговорила со мной, молодая, толстомясая, тяжкая телка. Чистая лишь благодаря юности, да и то вряд ли. Втайне я подозревал ее в неподмытости и в закрутившихся от грязи ляпочках белья. И глаза ее, накрашенные, как у египетских богинь, но не ливанскими втираниями, а дешевой тушью на густой слюне. После столовского обеда слюне.

Она назойливо предлагала мне себя. "Здесь, недалеко, — приглашала она, — в ремонтируемой парадной". Я отмахивался от нее, пытаюсь удержать уже начавшуюся смутную беседу с моим прошлым. Девчонка сердилась, угрожала, смеялась надо мной, таким взрослым дядей и таким нерешительным, боящимся дать рубль, в то время как другие с удовольствием тискали ее за все пять рублей.

Озверев от всего этого, я, наконец, набрался храбрости и проник как-то в комнату своего детства. И совершенно неважно, под видом ли инспектора по противопожарной безопасности, либо как проситель пришел, и меня поняли, не приняли за наводчика. Неважно это. Важно то, что, оглядевшись, я увидел детали прошлого, остатки его, как бы дорогие черты узнал в лице умирающего. Без возможности спасти узнал...

Так много раз я пытался форсировать будни, штурмовать их, своей, человеческой волей, взять приступом этот рай. У меня не было другого пути, но только такой. Только обратившись лицом в сторону детства, я ощущал верность направления. Все было оттуда: и способ мыслить, и способ чувствовать, и любимое, и ненавистное, все, вплоть до женщины, до той самой девочки, что из окна напротив. Все женщины после нравились мне настолько, насколько в них мелькало от той, моей рыжей красавицы.

И тогда, в детстве, помню прекрасное и странное ощущение того, что знал ее задолго раньше. Помнил, что знал. С каких пор — задолго? Не знаю. Знаю только, что с бесконечно далеких пор помню ее лицо, являвшее совершенную женственность для меня, мощь рая источавшее. И единственное, что отравляло мне этот рай, — прикрепленность этой красивой головки к тельцу. Ножки, возможно, корявенькие, цыпки, трусики, со случайностью на них и прочее, ввергавшее меня в содрогание, в озноб. В тот самый озноб, что охватил Адама, впервые вступившего на землю. Низверженного из рая Адама.

Позже, в, так сказать, зрелости (и не насмешка ли этот оборот — "зрелость", а не деградация ли?), пусть в зрелости, так принято говорить, в зрелости нечистоты эти именно и привлекали меня своей нечистотой. Нечистота нечистот — суть похоти.

Но вот теперь. В это утро. Я вспомнил все, что знал в детстве. Что знал задолго до детства, но после забыл. И снова теперь вынул это знание. Из-под камня вытащил. Как меч кладенец.

Необычайное утро продолжалось, необычайное хотя бы потому, что продолжалось неестественно долго. Может, оно не кончится вовсе? Может, не будет больше будней? А впрочем, что они для меня теперь? Загадка счастья разгадана. Выращен философский камень, в неведомой мне реторте, неведомым алхимиком, без моего ведома выращен.

Да и нужно ли оно, мое ведомство, здесь? Нужно ли оно было вообще когда-нибудь? Разве лучшее, что сделал я, — я сделал? И намеренно ли я сделал это, даже если и предположить, что я хороший? Разве такое же прекрасное я смогу повторить по своей воле? Разве воля моя не делает все мертвиной, все, чего бы она ни коснулась, без той, другой, все объемлющей, все проникающей воли?

И не прав ли был святой Антоний, когда говорил, что человек без Бога настолько ничто, что сам по себе и помыслить-то доброго не может.

Как хотите называйте его — ангел ли хранитель, Бог ли, но

каждый имеет своего ангела-хранителя. Иной из них — бледный, интеллигентный гражданин, вовремя и тактично предупреждающий клиента об опасности. Другой, видимо, тучный весельчак и эпикуреец, все устраивающий своему клиенту. С добродушным похлопыванием по плечу устраивающий. Хотя клиент и сволочь.

Мой ангел-хранитель суров. Как мудрый учитель, он редко, крайне редко явно раскрывает свою доброту. Он предпочитает не предупреждать или устраивать, но учить, то есть швырять меня прямо в гущу мелких неприятностей. Однако я заметил, что он тщательно и незаметно, не меняя суровости лица, охраняет меня от глобальных несчастий.

Тщательно охраняет, не меняя резкости лица, воистину добрый.

Уже поблекли и сократились тени. Уже в розовое сияние утра стало проникать масло полудня. Но людей еще не было на улицах. Им был запрещен вход в это время. Они лежали теперь в летаргии сна, наполнив комнаты ядовитым дыханием. Разве что иной из них брел сейчас, где-нибудь в квартирных недрах, с разложившимся от сна лицом брел, в поисках уборной...

Я шел и думал о волшебстве времени и о том, в частности, что вспоминаю ли я цивилизацию древних латинян или цивилизацию детства, и всегда оказывается, что они одинаково отстоят, в одинаковых далях, одинаковой дымкой присеченные. В одном и том же отдалении отстоят, где нет за ненужностью ни времени ни расстояний.

Будто бы ветер налетающий, в пыль будней врываются воспоминания: о золоте вечеров в Кампании, о белых одеждах гуляющих в пурпурный вечер на берегах Тибра, о грозных валах легионов, о триере — бегущим насекомым по лазури Ионического моря, о тяжком дыхании трудящихся любовников в душной помпейской ночи, о неведомом варваре, рубящем кедр в далекой Фракии...

Куда девалось все это? Куда исчезло? Может, до поры исчезло? Может, когда-нибудь, через тысячелетия будней, вспыхнет это опять?

"Вам плохо, молодой человек, — слышалось сбоку, — может, вам нужна помощь?" Я очнулся и увидел перед собой смешноватого человечка, всего какого-то обтекаемого, ни высокого, ни низкого, ни толстого, ни тонкого. Золотых фидиевских пропорций гражданина и в аккуратных очках. Он, оказалось, прогуливал свою собаку в этот ранний час, может, перед тем, как пойти на работу прогуливал. Пес большоголовый и беспокойный малый, валадался тут же по пустой улице. Обнюхивал, задира заднюю ногу, шумно дышал, преданно глядел, короче, делал все, что и положено делать этому суетливому созданию.

В тот же момент я испугался, по поводу будней испугался. "Ну вот, — думал я, — все и кончилось, и утро, и пустыньность. И из-за этих двоих сейчас все исчезнет". Я приготовился, как неминуемого обвала ждал. Но... ничего не изменилось, ничто не рухнуло. Удивительное утро продолжалось, и постепенная уверенность стала наполнять меня, а затем и радость. Та ошалелая радость, которую чувствует некто, приобретший волшебный талисман и вот, первый раз, проверивший его диковинные свойства.

Мне тут же захотелось ласково разъяснить человечку его ошибку, но так, чтобы ни в коем случае не задеть его, не обидеть. Мне захотелось быть веселым и вежливым, короче, быть самым любезным парнем на свете. И потому я ответил, чуть не лаская по плечу гражданина: "Дело в том, приятель, что у меня сейчас необычайное расположение духа, какого давненько не было. Если не соврать, так, пожалуй, со времен младенчества".

Гражданин же, по лицу которого мелькнула тень досады, глянул пристально: "А я-то думаю, что происходит? Человек разглядывает облупленные стены. Человек роется носком ботинка в мусоре. Может, он член какой-нибудь комиссии, а может, бродяга? Неизвестно. Или он болен? А у вас, оказывается, это, то же самое. То, что было лишь моим, а теперь вот и вы..."

Я не дал договорить ему, горячо прервал, чуть ли не за лацканы пиджака схватил, зашептал жарко: "Неужели и вы

тоже, неужели и вы знаете об этом всем, о секрете ниши, о пустыре, о старом лице дома?"

Но гражданин решительно запротестовал, гражданин осторожно высвободил пиджак из моих рук: "Нет, и еще раз нет. Это ваши и только ваши фантазии. Оставьте их себе, мне они не нужны. И никому не рассказывайте о них. Засмеют, затопчут. Разве вам не известна библейская притча о Вавилонской башне? А если известна, почему не поняли ее? Ведь черным по белому записано, что именно разноязычие в мечтаниях и привело к рассеянию строителей башни, решивших своей, человеческой волей взять приступом небо. И никаких башен не надо, никаких строителей светлого будущего не надо. И ваши мечты никому не нужны, как вам чужие мечты. Потому что человек рождается один и умирает один, иной же и живет один. Потому что каждый сам взойдет туда своим путем, единственно своим, без башен. Но цель едина, поэтому я сразу заметил вас, путника, идущего по другой дороге, но туда же идущего".

Гражданин без особых примет смолк внезапно, как бы устыдившись своей горячности, после чего продолжил свой рассказ такими словами:

2

Как-то гулял я со своей юной приятельницей и с ее псом, этим самым, пегим и головастым, по имени Бернардка.

Был пасмурный, ясный день. День с жемчужным воздухом и со светом ниоткуда. Со светом, не рождающим теней. Был пустынный день.

Не важно, кем для меня была моя спутница, сестра ли, знакомая ли, дочь ли моего приятеля. Важно было то, что ноги ее были длинны и дышали прохладой, волосы густы и сияющи. И в них, — слету застрявшие, будто Гермесовы крылышки, библейские строки: "В тени ресниц, будто пышный плод, зреет красота твоя".

Короче, она была уже прекрасна, хотя и не вышла еще из подросткового возраста.

Мы шли и беседовали, но каждый думал о своем. Вернее, она вовсе не думала, но, как молодой зверь, вся отдалась во власть восторга от обилия ощущений, от зуда молодых мускулов, от необычности освещения и от тысячи других раздражителей вокруг.

Мои же мысли бежали, подобно темному потоку, по мрачным подземным руслам. Я не был одарен и не был бездарен, я был не красив и не уродлив. Я был никто и по возрасту. Я был просто ее спутником сегодня.

О пропасти, разделяющей нас, думал я. О пропасти... И тут, неожиданно, впервые, вспомнилось мне нечто. Пропасть ли это? А может, что-то другое, может, просто то, про что я забыл? Что так восхищает меня в этом ребенке? Я вспомнил что, я знал что. То же, что и знатока, заметившего в своре щенят одного лишь. Порода. Да, это была порода. Великолепнейшая порода женщины, частица того, чудом уцелевшего через тысячелетия. Порода, которую выводили в древности многоопытные жрецы со времен арийской незапамятности вплоть до египетских династий. Выводили, селекционировали, веками, десятками веков. Работали над душой и телом женщины, сделав ее первой ценностью Востока. Сделав ее предметом преклонения и восхищения.

Теперь она лишь предмет вождения, потому что все забыто, потому что все обратилось в руины, среди которых сияет лишь, как символ, имя Пигмалиона, непонятным теперь символом сияет. Кончилась эпоха Пигмалиона, наступила эпоха безотцовщины. "Дайте нам лучших матерей, и у нас будут лучшие люди" — такими словами открыл новую эпоху мудрец.

Поле заросло тернием, чертополохом заросло. Всю жизнь я пользовался чертополохом, мечтая лишь о том, что неясно мелькало иногда то в одном, то в другом гражданине женского пола.

Правда, были еще остатки породы, неведомо, как уцелевшие, встречались иногда. Но лишённые своей мудрости от природы и лишённые учителя, они метались, как волчата, потерявшие мать, легко попадаясь в голые руки охотников.

Грязные ловкачи завершили дело, придумав теорию освобождения (от чего?) и играя на их тщеславии и слабостях, ловили их теперь легко, на самую незамысловатую приманку. Они мучались, страдали, но в неразумии своем снова и снова проходили мимо тех, кому гордость и чистота, остатки древности не позволяли быть охотниками. Проходили не замечая.

И потому два демона терзали меня постоянно, желание и сожаление. То, чего еще не было, и то, чего уже не было. Терзали. Но теперь вот это, внезапно вспомнившееся, бальзамом коснулось меня. Я вслушивался в себя, еще не веря случившемуся. Я ворошил угли. Я пытался найти хоть малейшую искру. Огня не было. Боль исчезла.

Измученный и озадаченный лежал Прометей. Было тишайшее утро, конечно же, розовое утро. Не слышно было железного грохота орлиных крыльев, не слышно было зловонного орлиного клекота. Орел не прилетел больше...

Мы продолжали прогулку, и редкие прохожие скользили мимо, щепками в ручье будничного дня скользили. Как вдруг я заметил, нет, сначала почувствовал, а потом заметил две фигуры вдали. Это были вполне обычные граждане, обычно одетые, по обычному тротуару идущие. Но что за тревога объяла мою душу, неизвестно откуда взявшаяся. Двое приближались, тревога усиливалась. И вот тогда, когда уже различимы стали черты их лиц, я понял, кто это. Это были джинны. Невероятно, но так.

Я огляделся кругом, все было обыденно. Никто не выпал из окна от любопытства, не бежали зеваки к месту происшествия. Люди сновали вокруг, каждый в себе. Значит, все это видел лишь я один, значит, все это касалось лишь меня одного.

Между тем, двое приблизились. Они были худощавы. Узенькие бородки и усики, печать жестокости были на их лицах. В глазах же сухой огонь, будто саксаул горел в песках, жаркий, невидимый в зените солнца.

Вот мимо лужи прошли они, и лужа подернулась сирене-

выми пятнами, керосиновыми разводами подернулась. Я был весь звук боевой трубы, тревога и настороженность был я. Вот они поровнялись с нами. Глаза их сверкнули, когда они увидели мою спутницу, но тотчас померкли при виде меня. Все это продолжалось какое-то мгновение, но я торжествовал. Я выиграл первую схватку с джиннами. Я даже повеселел. Темный поток моих мыслей вырвался на поверхность, и я увидел, что он чист. Я разгадал замыслы духов. Они теперь не были опасны мне. И еще нечто понял я. Это были последние из джиннов. Их времена миновали, их могущество иссякло. Они еще могли создавать вещи и явления, но уже очень немногие. А женщину... Ее сделать им было не под силу. Из бесчисленных выделений, из некрасивости и зловония выросал этот цветок.

Я оглянулся, волшебники были уже далеко. Они удалялись в перспективу улицы, но тревога не оставляла меня. Я чувствовал, что-то образуется. Я не понимал, что. Но, наконец, увидел — это треугольник. Один угол его были мы с девочкой, другой сами джинны, но третий? И тут меня осенило, это же Бернардка! Мы стали звать пса, свистеть, кричать. Но было тихо. Все обезлюдело. Это уже не было то безлюдье трудового дня, когда все сидят, над чем-то склонившись. Это было другое безлюдье — абсолютное.

Мы ускорили шаг, мы оглядывали окрестности, как вдруг девочка указала мне на что-то лежавшее далеко на мостовой. Это был мертвый Бернардка.

Битва с джиннами продолжалась, и, несмотря на наши потери, становилось ясно, джинны проигрывают эту последнюю свою схватку. Характер их мести, жестокий и мелочный, указывал на их скорую гибель.

Мы шли, я и моя подружка с мертвым Бернардкой на руках. Вот и он, наш дом. Но отчего он так пуст, страшно пуст? Окна безжизненны, ни одного фикуса не высится в них, ни одной банки с томатным соком, ни одного толстого промасленного пакета, символа жизни, не было за их стеклами.

Я вошел в парадное и... тотчас был схвачен за руки мертвой хваткой. Приглядевшись, различил, что держит меня

здоровенный забулдыга. Вверху же, на ступенях, там, где уныло скрипела сорванная дверь неработающего лифта, стояли джинны. Лица их были зелены, зеленой судорогой были сведены их лица.

Холод настал в моей голове и спокойствие в сердце. Я насмешливо спросил державшего меня: "Гражданин, драться я с вами не могу, уж больно вы здоровенный жлоб. Скажите мне только одно, что они пообещали вам? Наверняка лишь маленькую. Спросите больше, литровую, к примеру, и увидите, не смогут".

Я почувствовал, как ослабли клещи на моих руках и продолжал: "Я не джинн, но могу поставить "Столичную", а то и две, и с закуской".

Клещи разжались. В лице пьянчуги я прочел растерянность. Мы глянули вверх. Мы разом сказали: "О!" Джинны исчезли. Мы выбежали на улицу, она гремела трамваями и авто. За окнами шелестели фикусы, солидные сетки со снедью висели из форточек.

И, в довершение всего, к нам подошла моя спутница, рядом с ней шумно дышал живой Бернардка.

Далеко за полночь засиделись мы с забулдыгой в ресторане. Мы справляли джинновы поминки. Был уже неизвестно, какой по счету стакан водки. Мы сидели, сосредоточенно глядя в никуда. Стояли стаканы, прямо и не мигая глядя в потолок. Иногда лишь они вздрагивали уровнем от ресторанного веселья и уханья оркестра. Мы выпили этот очередной стакан водки, после чего мой собутыльник, задумчиво икнув, так начал свой рассказ:

3

Я, как вы догадываетесь, хулиган, мне все можно. Как-то раз я шел по улице. В сладком состоянии шел. В состоянии безнаказанности. Я щупал женщин. Тем более, что были праздники.

Я подошел к одной и сказал ей просто: "Давай повалею"

ся?" Это было, как удар хлыста для мазохиста. Извлекающим себя ударом.

Женщина возмущалась, но прохладно. И сквозь негодование, как из-под новой покраски старая, мелькнуло равнодушные сытости. Прозрачный взгляд ее привычно-оценивающе скользнул по мне, и она, отвернувшись, ушла.

В адской веселости я шел дальше. И догнал другую женщину, и сказал ей просто: "Давай поваляемся?" Это была маленькая серенькая женщина. Я подозревал огромный кусок пакли у нее между ног. Я был уверен в этом. Мохнатый, выжженный до желтизны.

Глаза ее сверкнули алчно. "Давай!" — сказала она, и сердце ее забилось в узенькой лодке груди. Мне стало страшно. Мне, голодному, стало страшно, потому что я увидел, есть еще больший голод. Я ловил, а оказался уловленным.

Мы пошли с ней, уже тесно, рядом идущей, чуть не в ногу, старающейся прикоснуться ко мне ненароком, случайно.

И тут будто что-то толкнуло меня. Я оглянулся и увидел еще одну женщину. Черные глаза, черное, тонко колеблющееся платье с очертаниями чулочных застежек... Сославшись на то, что мне необходимо в туалет, я пошел к нему и, минуя задами его, погнался за этой женщиной. И, догнав ее, сказал ей просто: "Давай поваляемся?"

Однако это было не так просто сказать, потому что это была не обычная женщина, не одна из того странно мочащегося пола. Это была действительно женщина, как раз то, что мне надо было. А в таких случаях не то, что настоящие мужчины, но даже и мы, хулиганы, теряемся.

Но что это? Глаз ее сузился, как у меткого стрелка. Она не проявила той готовности, что так испугала меня недавно, но и не лицемерила. Она сразу все поняла. Она сказала "Да". И мы бежали с ней, скрываясь среди прохожих от той, что ждала меня у клозета. Ждала, заглядывая в двери и проверяя всех, не я ли это?

Вот мы уже и далеко, среди набухающего праздником многолюдья. Мы замедлили шаг и пошли не спеша. Весело

болтая о пустяках, пошли. И так у нас все было складно, что без всяких договоров и уговоров, взглядами, да улыбками уже знали наперед, что сейчас выпьем слегка, закусим, побалуемся для начала, а потом на салют. И уже после заляжем на всю ночь и на весь завтрашний день.

Планы были шикарные, и я заметил про себя, что даже и думать забыл обо всем саднящем душу. И о бухгалтере-сволочи забыл, и о том, что водка подорожала, и о повестке в суд по делу о нанесении побоев гражданину Насосову забыл тоже.

Всякое бывало в жизни, и лихое питье, и зверское битье, и дамочки ни одной такой не было, чтобы ушла недовольная. А от иных надо было по три раза на дню тоненьким голосом через закрытые двери отбредиваться, что, мол, папы нету дома. Но от всего этого, если начистоту, мне было ни холодно, ни жарко. И только сейчас внутри согреться стало. Вовремя я встретил ее. Время подошло точь-в-точь. Иначе трещину дал бы. Злобеть я стал от тоски, звереть стал от одних и тех же рыл, от одних и тех же трудовых будней, от одних и тех же Тань и Галь. Давно уже мечтал об этой — другой, необычно застегивающей чулки, незнакомо улыбающейся, незнакомой мне женщине.

Но вот тут-то и была загвоздка. Незнакомая ли? А вместе с тем знакомая и даже очень. Может, от того, что моментально почуяли друг друга, может, от того, что она вся, от каблучков до улыбки, как по мерке, под меня сделана? Где-то я видел ее, где-то встречал, и вместе с тем точно знал, что не видел ее раньше. Чтобы не свихнуться от этого "видел, не видел", я стал расспрашивать ее, вспоминал, в свою очередь, все происшествия моей жизни. Но все было напрасно. Следствие, как говорится, было приостановлено за отсутствием состава преступления.

Оставалось одно. Видно, будучи в состоянии глухой пьянки, я заметил ее где-то и запомнил. Пить я умею, не падаю, не шалю, но помнить — ничего не помню после. В этом вся и загадка.

Найдя такое объяснение, я окончательно повеселел и

думал про себя: "Вот ведь как славно все. Дома закуска, выпивка приготовлены, дама, как по заказу, впереди два дня праздника. И чего еще человеку надо?"

И в этот самый момент я услышал властный окрик. Милицейский окрик. Приказание подойти. Подошел. Мы, хулиганы, народ хоть и вспылчивый и гордый, но тут ведь, сами судите, праздники, а у меня еще и капли во рту не было, хотя порядочные люди уже и покуралесили по улицам, и спели все популярные песни, а иные тут же и прилегли, утомившись. Обидно было бы, еще не начав праздновать, уже и закончить. Потому я и подошел без особых выкриков и замечаний. Да и милиционерчик был уж больно необычный. Эдакий хлипкий фрукт, в реденьких желтых усах. И хотя он пытался быть солидным, что-то крайне несolidное было в его облике. Почему-то напоминал он мне аспирантов, эту породу зеленых созданий, оставляющих перхоть на библиотечных столах.

Потому некоторое время я пялился на него, а он на меня. Я в удивлении от этого, впервые увиденного мною, не милиционера в милицейской форме, ну а он, видимо, по делам службы. Когда мы насмотрелись друг на друга вдосталь, я лихо отрапортовал ему, так и так, дескать, товарищ старшина, очень удивительно мне, почему вы в присутствии гуляющих трудящихся бросаете тень на меня, разглядываете так, будто бы я уголовник какой, в то время как я уже несколько дней за собой ничего не замечаю и веду честную трудовую жизнь.

Милиционер вздохнул, покачал головой укоризненно: "Очень, очень печально, гражданин, видеть такое отношение к сотрудникам милиции. А я, между прочим, хотел вам помочь, потому и опознавал вас по приметам. Поступили сигналы от одной гражданки. Поступила просьба отыскать вас. Вот вы грубите, а она любит вас. Она, может быть, потрясена потерей любимого человека. Вот вы, к примеру, вошли в туалет и не вышли. А она переживает, мучается, не случилось ли чего, не попали ли вы в беду. И ни один из входящих или выходящих из этого общественного места, не нашел

ни утешения, ни доброго слова для нее. И девушка обратилась ко мне, к представителю милиции, без предубеждений и пред-рассудков. Ее горе так тронуло меня, что я, повинувшись не столько долгу, сколько велению сердца, собственноручно проводил ее внутрь уборной, чтобы она убедилась сама в том, что там нет того, кого она ищет. Там, правда, сидел какой-то (ногами на унитазах — непорядок), забывший спрятать свои лиловые органы (никакого уважения к женщине). Но она с негодованием отвернулась от этого человека, так не похожего на найденного ею, но вот потерянного, единственного, дорогого, любимого.

"Пройдете, гражданка уже ожидает вас". И он потянул было меня за локоть, требовательный, настойчивый такой, в своем стремлении помочь человеку. Еле-еле мне удалось остановить его и объяснить, что с той девушкой у меня было просто увлечение, и зря она отвлекает работников милиции от дела, потому что сердцу не прикажешь.

Милиционер согласился, задумался и предложил нам присесть, после чего начал беседу с нами такими словами:

4

"Я считаю, граждане, что нам надо окружить эту девушку товарищеским теплом и заботой. А ей, в свою очередь, надо побороть ложный стыд и обратиться за помощью к коллективу, не замыкаться в себе. Она должна найти в себе силы посмотреть правде в глаза. Я ведь тоже был в таком положении, но товарищи не отвернулись от меня, установили шефство, не отходили ни на шаг до тех пор, пока я полностью не вошел в русло здоровой, многогранной жизни коллектива..."

И в это время долбанул неожиданно взрыв салюта. Некто огненный, безумный, многорукий взметнулся на полнеба замер на мгновение и стал опадать, меркнуть под рев и улюлюканье людских скопищ.

Милиционер сразу оживился, зарумянился. Он вскочил со скамьи, хотели встать и мы, но он остановил нас жестом. И стоя, торжественный, сказал волнуясь: "Товарищи, в этот

знаменательный день, когда вся страна, весь народ подводит итоги, хотелось бы и мне перед случайно встреченными простыми советскими людьми тоже подвести итоги, отчитаться в недостатках и упущениях, рассказать о достижениях и вкратце наметить планы будущего".

Он лукаво и значительно глянул на нас, потом также на боковой карман своего кителя. Он чуть ли не подмигнул нам: "Да, друзья мои. Это всегда со мной. Всегда здесь, между партбилетом и удостоверением".

Он достал какие-то бумаги, завернутые в полиэтилен, аккуратнейшим образом вынул их, распрямил, подал нам и добавил: "Эта, одна из моих записей, оставленная шефствовавшими надо мной товарищами для протокола, представляет собой развернутый документ, свидетельствующий о моем прошлом дряблом и упадническом мировоззрении, изжить которое мне помогли товарищи и неустанная забота коллектива".

Мы развернули бумагу...

...Да, я вспоминаю это сейчас. Мы шли по краю сиреневого пустыря. Почему сиреневого? Может, это был вечер? Нет, это был день, безмятежный летний день. Я отчетливо помню дневное сияние трав... Однако пустырь сиреневый, конечно же, сиреневый пустырь, от чрезвычайной грусти, что ли? Даже пурпурный местами.

Я обнял ее, и мы свернули на эту пустошь. Отделились от остальных. Она склонилась ко мне, левый край ее длинных волос опустился пологом. Так мы и шли в тени этого полога, вместе, рассекая сверкающими ногами травы пустыря. Было лето.

"Я же всегда догадывалась о том, что твоя грубость по отношению ко мне... Я всегда чувствовала смутно, что это вовсе не грубость..."

"Да я не мог иначе... Это была единственная защита, иначе я рассыпался бы, распался бы, вызвав всеобщий смех. Да и это неважно, совершенно неважно, не за себя боялся, но боялся отдать на поругание нежность, бывшую во мне. Нежность к тебе..."

Да, да, как сейчас я помню всю ее, сильную, стройную. С чистыми красками глаз, губ, с драгоценным сиянием полутонов лица и шеи. И тело ее, его осанку вспоминаю, подобную осанке ласточки в тот момент, когда она выбрасывается из гнезда. В первый момент.

"А в тот раз, помнишь, ты ведь хотел мне сказать тогда? Это моя вина, я не помогла тебе. Я лишь позже догадалась, мгновением позже".

Мы шли, и я не отрываясь смотрел в ее лицо. В полумраке шатра лицо. Шатра ее волос.

Казалось, все замерло вокруг, замерли и все вещи — обитатели пустыря. Большой обруч из-под бочки, бьющий по ногам, если ступить на него. Старые доски с потаенными гвоздями, битое стекло... Все эти вещи смиренно безмолвствуют.

Обруч не вспрыгивает со стремительностью капкана. Противясь всем законам физики, не вспрыгивает. И старые доски не рассыпаются, не обнажают кровавых от ржавчины зубьев гвоздей.

Подобные йогам, идем мы по шипящему стеклу. Вдруг нас, а вернее, меня, окликают. Я оглянулся смутно, как внезапно разбуженный оглянулся, и, выйдя из-под шатра, увидел человека рядом и не сразу узнал его: "Кто вы?" "Да я же Ардабьев, помнишь, мы с тобой сидели за одной партой в гимназии. Из далекого детства я, человек из воспоминаний. Дорогих для тебя воспоминаний".

Я же неприветлив, я силой вырван из нежной среды. Я отвечаю: "Простите меня, но я сейчас занят, прекрасно занят. Вы должны понять меня. Вы действительно дорогой человек для меня, потому что из золотой страны детства и в другое время. ...Но теперь..."

Он все понял, он понурил голову. Тут я увидел, на горизонте увидел, там за пустырем, идущего некоего нашего общего знакомого. Я встрепетнулся, я указал на него Ардабьеву: "Вон тот, идущий вдоль шоссе, наполовину съеденный травами, вот он составит вам компанию. Он, ведь, тоже помнит вас?" Тот, идущий вдаль, не то курит, не то жует травинку. Ветер забирается под его рубаху на спине и шеборшится там.

Далеко идущий поглядывает на нас. С интересом поглядывает. Как отославший, досуже отославший этого человека ко мне, и теперь интересующийся, так мимоходом интересующийся, что будет.

"Я говорил с ним, — печально отвечает Ардабьев. — Но он послал меня к тебе, ему некогда, он торопится по делу".

Понурился, уходит мой знакомый, из далекого детства, дорогой знакомый. Уходит, то погружаясь в травы, то выходя из них. По диагонали ландшафта уходит.

Я снова возвращаюсь к себе. Мы снова вспоминаем все течение нашей любви. Мы подходим к ее даче, за пустырем даче. Там мир, освященный ее прикосновениями. В шезлонге, с газетой на лице, дремлет пожилой мужчина. О, это не просто мужчина — это ее отец... Женщина стелет сияющую скатерть на стол... Эта женщина ее мать. И мяч ее, брошенный. И платье на спинке стула, и книга...

Мы рассматриваем друг друга на прощанье, как бы пытаемся запомнить каждый другого. Навсегда запомнить. Она дает мне карту, игральную карту, туз червей, случайно оказавшийся у нее. Ворсистый атласный, пахнущий духами, со сломанным уголком предмет. "Давай разорвем ее пополам, — предлагает она, — это твое, а это мое, когда же будем встречаться, прежде всего будем их составлять торжественно..."

...Эта половинка карты. И через бесчисленно многие годы я берегу ее. Потому что я маленький мальчик, и это моя любимая игрушка.

У нас дома гость. Некий приятель моих родителей. Веселый, басовитый мужчина, как кажется мне, человек-гора, Гулливер.

Он любит меня и всегда приносит мне подарки, которые я принимаю со скромной женской досадой, потому что они всегда не то, что надо.

Я сижу и играю половинкой карты. Мне грустно, непонятно, отчего. Всегда грустно, когда в руках у меня эта игрушка. Подходит Гулливер, гладит меня по голове, что-то шутит. Вдруг видит мою карту и произносит что-то вроде "Хо", некий рык, означающий удивление при внезапной веселости:

"Ба, да у меня сюрприз к вам, молодой человек приятной наружности". Он забирается в боковой карман, сосредоточенно роется там... и вытаскивает вторую половинку карты.

В полусне забытья я слышу: "Дачку ремонтировал. Смотрю, в щели лежит, подобрал, все-таки диковинка. Прихватил. Чисто случайно. Старинная игральная карта времен наших прабабушек".

Он складывает ее с моей. И вот они снова вместе. Но что со мной? В какую бездну погружаюсь я? Разве печаль бывает таким необъятно сиреневым потоком, с лепестками пурпурных цветов? Невыразимая грусть...

Да и что могут объяснить эти два слова? Ничего. Я не нахожу слов. Может, оттого что я маленький мальчик? Может, оттого что я пока чувствую лучше, чем говорю? Да нет же. И чувствую я пока лучше них, взрослых. И говорю лучше, пока.

"Краснобай" — зовет меня наша соседка, всякий раз обнимая, когда мать ведет гулять меня. "Краснобайчик, ну, дай я тебя поцелую". "Я не хочу, потому что не люблю, когда женщины курят" — отвечаю я чисто и четко. Она смеется, вздыхает, эта, уже немолодая женщина, со следами несчастья на лице.

Но отчего же все плывет, как в тумане? И не плачу, потому что не хватает настолько, как теснится внутри.

"Э, молодой человек, да никак я огорчил вас? — расстроено басит человек-гора, — экая неприятность, да что же случилось?"

Подходит мать, красивая, в длинном платье, складывается около меня на полу и берет в ладони мое лицо: "Что с тобой, малыш?"

И среди суеты и беспокойства домашних я вижу, как бы в отражении вижу, нечто подобное смутно текущим кадрам старого кино. Водянистое, неясное изображение идущих двоих. По пустырю идущих в сиянии полудня.

Меня успокаивает мать, отчаянно гудит огорченный знакомый. Удивляется и сердится отец: "Может быть, он проглотил пуговицу, почему он не открывает рта?" И, обращаясь к Гул-

ливеру, заключает: "Черт его знает, этого парня, странный ребенок, бабья натура какая-то".

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с несозвучными настроениями лишен возможности мобилизовать себя к переходу в развернутую стадию перестройки. Настоящим прошу коллектив и общественность оказать содействие в вышеизложенной просьбе.

ОСНОВАНИЕ: Прилагаемое заявление, а также необходимость перековки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Без примечаний.

ПОДПИСЬ.

СЛУШАЛИ

ПОСТАНОВИЛИ

1. "...да, я вспоминаю это сейчас". **Отметить и осудить дряблые инстинкты упадничества и обратить внимание на героику сегодняшнего дня.**

2. **Заявление**

Вопрос № 2 обсудить на следующем расширенном заседании по созданию комиссии выяснения возможностей содействия подателю настоящего заявления.

Мы собирались уже распрощаться и уйти, но милиционер задушевно продолжал: "Итак, друзья, — сказал он, опять же аккуратнейшим образом упаковывая бумаги в полиэтилен, — итак, я стал вылечиваться. Но иногда, знаете, нездоровые настроения еще одолевали меня, тянуло почитать какие-нибудь расслабляющие стишки или расчувствоваться от какой-нибудь демобилизующей музыки. И опять товарищи пришли на помощь, не бросили в беде. Пойди, говорят, в милицию, поработай там, вдохни, говорят, воздуха подвига. Послушался, пошел. И в самом деле, там-то я окончательно выздоровел, окреп. Все плаксивые настроения исчезли. Туда, сюда, дежурства, вызовы, встречи с интересными людьми, яркие картинки пережитков, доставшихся нам в наследство от царизма. Короче, скучать некогда. Физкультурой занялся, принял живое участие в самодеятельности. А там и любовь приш-

ла, настоящая, три года наше чувство проверяли, сейчас детишки пошли...

Особливо, дорогие товарищи, запомнился мне первый день дежурства. Были праздники, трудящиеся отдыхали, веселились. Иные уж слишком веселились, злоупотребляли. Но на то и мы здесь, напомнить, призвать к порядку. Как сейчас помню, шел я эдак не спеша, поглядывал зорко, где непорядок, где нарушение. И вдруг вижу на газоне, под деревом, извините, граждане, за некрасивое сравнение, девушка мочится. Но мы — милиция — и не такое видели. Не это удивило меня, и не то, что совершала она этот аморальный поступок на газоне, в зоне зеленых насаждений, а не в специально отведенном для этого месте. Удивило меня то, что делала она это как-то противоестественно, не по-женски, а, прямо скажем, по-мужски.

По долгу службы я приблизился к ней и еще более поразился. Потому что она, задравши юбку, держала в руках здоровеннейшую штуку, через посредство которой и отправляла свои естественные надобности. И такая это была огромная штуковина, что, извиняюсь граждане, не только у женщины такой не найдешь, но и не у всякого мужчины. Однако я не стал долго раздумывать над этой загадкой природы. Мы, милиция, не патолого-анатомы. Потому подошел я к ней, честь по чести, козырнул и сказал со всей твердостью: "Нарушаете, гражданка. Разве не видите, там направо надпись "По газонам не ходить", а вот налево табличка, черным по белому: "Туалеты". А в центре красочный плакат — "Будем относиться к природе по-Ленински".

Крыть гражданке было нечем, и я отвел ее в отделение, к капитану.

"...Ну что же, рассказывайте, молодой человек", — обратился товарищ капитан к девушке. Я так и подпрыгнул на месте. И действительно, мужик, натуральный мужик, только что в женском обмундировании. Вот что значит 30 лет в милиции проработать, вот что значит опыт. С ходу раскусил. Я не мог

скрыть своего восхищения и преклонения. Капитан же покачал головой, потрепал меня по плечу: "Да, Василий Матвеевич, нарушителя надо уметь различать под любым обликом. Под видом ли человека, под видом ли женщины, это не важно. Кулаком или пистолетом это просто, а ты пораскинь мозгом, сопоставь, проанализируй. Не отчаивайся, Вася, с опытом, с опытом придет и с большой работой над собой".

"Рассказывайте,— вновь обратился капитан к разоблаченной девушке, — как случилось, что вы испражнялись на территории зеленых насаждений?"

"Да войдите же и в мое положение, товарищ капитан, — взмолился обвиняемый — куда же мне еще идти в таком виде? Ведь в мужской туалет не сунешься в такой одежде, а в женский зайди, сколько криков будет".

"И непременно", — вставил я, вспомнив все подробности нарушения.

Капитан глянул на молодого человека с сочувствием, с интересом и сказал отечески, мягко сказал: "Вот видите, к каким неприятным ситуациям приводят противоестественные наклонности. Расскажите нам, не спеша и не волнуясь, как вы стали педерастом?"

Молодой человек, как раз волнуясь и спеша и даже протестуя, так начал свой рассказ:

5

...Это старуха опоила меня какой-то дрянью. Так что я моментально сомлел. Находился в состоянии какого-то полусна, хотя отчетливо соображал и чувствовал. О том, что опоила, догадался после, но и теперь, в бреду, было знание об этом, только что неосознанное. Заснул я сразу и причем на полу, у входной двери. И вот я мчу, уносимый темным течением в глубины сна, сопровождаемый мыслью-голубем: "Ну и что, ну и заснул, тут, у входных дверей, на полу. Конечно же, подумают, что пьян, но все разъяснится позже, что же касается моего..."

Голубь летел недолго и вскорости отстал. Я один плавал

и вращался в космосе полусознания, среди возникающих и гаснущих созвездий снов...

Как вдруг, прикосновение ощутил, вдруг. Одно, другое. Будто бы дождь начинающийся, капля за каплей, взбивающий дорожную пыль, притихшую от предгрозового молчания. И вот обрушившийся бурными объятиями и поцелуями. И нечто настолько мерзкое было в них, что изжога отвращения поднялась изнутри. Мухами по трупу бродили по моему телу поцелуи и ласки.

С трудом я разлепил глаза и сквозь мрак полубеспамятства, вынырнув из глубин его, увидел и ужаснулся. Старуха ласкала меня. Волоча лохмотья своего тела, дряхлой вахханкой неистовствовала. Хлопотала надо мной.

Я пытался стряхнуть ее, но был подавлен силой отравы. Старухины же силы втрое возросли от темного желания, осевшего в глубинах и вот всколыхнувшегося. Закружившего темной мутью.

В ходе вялой борьбы, несмотря на отвращение, я заметил, ведьма была толстозада. Замшелые бастионы бывшей крепости. Тяжкой и горячей кобылицей была она в молодости. К мощному крупу которой припадал ни один из страждущих. Темно страждущих...

И вот снова всколыхнулась тина и восстало дно.

Я отбивался, как мог от нее, и когда избавился, то окончательно проснулся. И тут заметил ее племянницу. То ли бывшую здесь, то ли только что вошедшую. Повторение старухи была она. Мощная, со столбами-ногами. Она взглядывала на нашу возню, и некая судорога вдруг побежала по ее лицу. Она принялась укладывать старуху в постель, заботливо пришептывая, уговаривая, делая вид, что приняла все это за припадок и якобы желая помочь ей. Я же заметил, что она просто завидовала, хитрила в женской сопернической ненависти к старухе.

Между тем гнусный пламень вспыхнул и во мне. Обе племянницывы ноги белыми колоннами уходили под тонко трепещущий шелк юбки. Я встал, уже совершенно очнувшийся, подошел к ней и стал щупать ее. Она не шевелилась, лишь

подавалась навстречу. Вот я наткнулся на лобок с упругой подушкой волос...

Мы тут же, как давно знакомые, забыв о старухе, сговорились пойти в кино, в парк, куда угодно, лишь бы потемнее. Дома было нельзя. Старуху мог хватить удар, да и старик работал теперь в первом этаже.

И в этот момент старуху-таки хватил удар. Это было, как вспышка последнего и ярчайшего свечения перегоревшей лампочки. Старая мегера яростно пыталась приподняться, крикнуть что-то. Ненависть так преломила ее лицо, что мы отшатнулись в страхе. Умиравшая извивалась, будто бы связанная по рукам и ногам, конвульсии сотрясали ее тело. Она еще дышала. Племянница бросилась вниз по лестнице к старику. Стук на первом этаже прекратился, возникла суета. Сквозняк суеты. Раздались возгласы, оханье, хлопанье дверей. Была вызвана "Скорая помощь". Было белое мелькание халатов через двор и головы любопытных в окнах.

Мы взвалили старуху на носилки. Она оказалась дьявольски тяжела. Я помогал санитарам. Я помогал и почувствовал вдруг легкое касание на моей руке. Это снова была старуха, гладившая и лизавшая мою руку. И только было я подумал, мгновенно, с отвращением подумал о том, чтобы отдернуть руку, как ведьма укусила меня до крови.

Но вот носилки ловко вкатили в кузов, и машина умчала. Старик возвратился к своей работе. Он ломал печку на первом этаже. Древнюю печку. Он отламывал слои штукатурки, чтобы добраться до кирпичей. Возможно, он был археолог.

Вот мелькнул слой побелки, усеянный мелкими голубыми и розовыми цветочками. Пахнуло теплотой дома. Возник интерьер с синим, стеклянным вечером за окнами, с горячей побелкой печки и голой лампочкой под потолком, резко освещавшей пустой, послевоенный стол, крытый клеенкой.

Старик разрубил пласт этого бывшего вечера безжалостно. Он не был археолог, это я так хорошо подумал о нем.

Но вот мелькнул, как за деревьями, и пропал, и снова мелькнул, и стал обнажаться последний слой штукатурки. Я увидел море, бегущих по берегу женщин — аттически бе-

гущих. Предельно простое и ясное все, точно под светом полуденного солнца.

Я увидел роспись Пикассо.

Старик очистил уже всю плоскость, и она сияла и кидала отсветы на руины комнаты. И они стали античны. Они стали заброшенным храмом где-либо на Крите. И карандашная полуденная тень, сквозь которую особо бьющими по сердцу были эти просторы неба и моря. И бегущие...

Старик замахнулся было уже, чтобы снова ударить, но я остановил его, попросил подождать. Потому что хотелось снова и снова глядеть в этот пролом среди руин, брешь в море, в небо и древность. И трепет одежд на литых телах бегущих.

Старик не видел всего этого и ждал. Надменно ждал, делая мне великое одолжение, согревая и щекоча свой гнев внутри. Гнев давно умершего и лишь существующего по биологической инерции. Гнев по поводу меня, молодого.

И ненависть этого призрака из могил такова была, что он забыл и про жену, только что отвезенную в больницу, и про работу. Нет, не оттого что ему хотелось ускорить работу, занес он руку. Но для того, чтобы сломать это видение, уничтожить его. Я же сказал ему тихо: "Старик, ведь это Пикассо". Ненависть пятнами пошла по его лицу и он прохрипел: "Мазня, мода, мода". "В таком случае и "Князь Игорь" тоже мода, только тех, ваших, плюшевых времен" — ответил я. "Мода, мода, все вы сопляки и жида" — с ненавистью повторял он, и бил, бил, бил.

Я же, укоряя себя за то, что всегда мечу бисер перед свиньями, печально глядел, как отпадает пласт за пластом. Еще были видны из-под обнажившегося кирпича нога бегущей, край одежд, трепещущий в голубом и золотом воздухе Аттики, еще реяло небо, блеклое, с розовыми, еле различимыми облаками. Но вот все кончено. И старик, яростно бьющий уже пустой кирпич. И не замечающий этого...

Между тем, мы с его племянницей отправились в парк. Срочно нашли темное, безлюдное местечко. Было раздувшееся в полумраке тело племянницы. Гигантской пиявкой белевшее на скамейке и ее пыхтение и стоны.

После мы остывали в летнем кинотеатре. Я, как всегда, оглушенный изъятием семени, она же вся удовлетворенная, расплывшаяся в кресле. Студнем расплывшаяся. И куда девались порывы, покраснения, голубая влага в белках глаз, строго склеенные ноги с лунами белых колен? Куда девалось все это, делающее даже страшнейших из них — желанными?

Ныне лениво сидела она, развалив колени в стороны, впрочем, иногда взглядывая на меня с тревогой. Как умный пес взглядывает за костью, ненужной теперь, но оставленной на потом. И потому тщательно сберегаемой.

Летний кинотеатр, где мы сидели, имел форму треугольного амфитеатра без крыши, с тремя экранами и тремя разными фильмами. На одном из экранов страшно кричали и делали невероятные сальто японские каратисты, на другом, в пламени прерий, мчали ковбои, на третьем — остро разрешалась „кисло-сладкая драма любви. Мы как раз и смотрели эту драму.

Шло время. Старикова племянница не отрывала очей, полных слез, от экрана. Было видно, как насыщение ее проходит, как восстановившиеся запасы белков вновь окрасили ее лицо. Были закусываемы губы, сомкнуты колени. Я был в отчаянии от ужасного нежелания, надо было бежать. Но как? И в этот момент группа молодых людей весело и шумно стала протискиваться через наш ряд. А когда они подошли ко мне, я встал как бы для того, чтобы пропустить их, и тихо, пригнувшись, ушел далеко по радиусу, в сторону ковбойского фильма. И, севши в самую середину, замер, и ощущал уже там, на расстоянии, как она, встревоженная, оповещенная птицей-чувством, оглядывается, ищет. Недоумекает еще. Но вот гнев и ядовитая женская ненависть и почернение белков в яйцеклетках...

Я сидел затаившись и глядел в экран, где на берегу реки, в закате, мужественно умирал старый ковбой. Он стоял, сломавшись в животе. С пулей в животе. Он придерживал рану рукой и виновато глядел на жену индианку. Не осмеливающую подойти к господину в этот момент. И лишь блиставшую слезами. Ковбой умирал. Звенело банджо...

Я оглянулся и увидел девушку рядом. Надо заметить, что не просто оглянулся, но как бы в бок был подтолкнут чем-то. Чувством, что ли? И увидел — девушка покраснела. Чистейшие черты, безукоризненные черты, как бы англосаксонской масти, белокурой масти. Без единого вкрапления монголоидности, либо семитизма. И взгляд, который не пересказать, а если попытаться, то это нечто неизмеримо нежное в нежном. В нежной красоте век, ресниц и шелковых бровей, в воздушной среде голубовато-серого зрачка взгляд. Есть ли кто такой, кто опишет взгляд? Определит, что это — взгляд. Нематериальное и неухватимое, но мгновенно покоряющее...

Короче, я сразу решил про себя, что вижу чистейшее существо, некоего ангела, сошедшего с небес. На девушке была рубашка легчайшего материала и юбка, собственно, длинный макси сарафан.

Конечно же, первой моей мыслью было, как заговорить. Ибо это очень важно, как? Угадать, как. Но вот другое. Такое совершенное существо не может не почувствовать грязи, в которой я только что был. Она только глянет и все поймет. А потом боль, тоска. Лучше не заговаривать. Так я сидел некоторое время. Но, что это, она сама посмотрела на меня. Улыбнулась мне. И шепотом сказала что-то смешное про уже умершего ковбоя. Мы сразу же разговорились. И только я подумал о том, как она сама предложила мне выйти на воздух и поболтать. Мы вышли и бродили по аллеям. Я же, боясь спугнуть свершившееся, долго крепился, но через некоторое время, не сдержавшись, с жаром выложил ей, что она прекрасна, но чтобы она ничего не подумала, потому что говорю я это не для чего иного, как для того, чтобы выразить свое восхищение и что сам отчетливо понимаю, как недостойн подумать даже об...

Тут она прервала мою горячую речь. Взглядом прервала, улыбкой. И, к моему ужасу (от невероятности случившегося), бросилась мне на шею и смеялась: "Какой же ты смешной, совсем, как моя кузина, и глупый такой же, и кудри ее". Надо отметить, что я был молод и привлекателен. Густые и выщипанные кудри сделали из меня некоего Антиноя.

Я уже не помню, как мы оказались в темной аллее. И уже после всего, после всех невероятных вещей, что она проделывала со мной, когда мы отдыхали на скамье, она вдруг попросила меня: "Малыш, прости меня за мои глупости, но я хочу, чтобы ты переоделся в мое, а я в твое. Ты нежен, как девушка, но той штучки, что есть у тебя, нет у девушек. Ты будешь совершенен для меня в этой одежде".

И мы переоделись. Я ощутил трепет ее кофточки на плечах и касание ходящего сарафана, по икрам ходящего. Ее волосы рассыпались по спине моей старой джинсовой куртки. Она оглядывала меня и себя. И все ей доставляло радость. Она снова и снова тормошила меня и целуя приговаривала: "Какой же ты симпатичный, как моя кухня, нет, даже лучше". Она склоняла голову, любуясь, поправляла складки. Мы шли, и я, не зная, как начать, спросил: "А эта кухня, как ты ее называешь..."

Но тут же был прерван, с досадой прерван: "Пожалуйста, не надо, не надо об этом. Я вовсе не страдаю лесбиянством, но так вот случилось, люблю ее. Всю люблю. Не знаю даже, как все это произошло. Она необычайная, золотая вся. У нее не было, как у других, мокрого переходного возраста".

И тут я почувствовал как бы легкий сквознячок, готовый задуть этот, неожиданно возникший, слабый, но прекрасный огонек. И облако грусти уже опустилось, и я не мог скрыть печали.

Она же принялась успокаивать меня: "Да что ты, мальчик, что ты думаешь, за открытость ты мне и понравился, вот за это самое, что ничего скрыть не можешь, за то, что, как непугливая птица подошел ко мне, без хитростей".

Усилием воли пресек я уже начинавшуюся слякоть, грозившую мне тоской и унижением, и спросил, изображая беспечность: "Ну, а мужчинами, настоящими, ялдатными, так уж и пренебрегаешь?"

Она засмеялась и ответила просто: "Конечно же, нет. Нельзя одни пирожные, ржаной хлебушек очень неплох тоже. Но только не путай меня, милый, с теми ханжами, чинными дамами из бухгалтерий, отделов кадров, что глухо и тяжело обожают секс. При всей их чинности и неприступности, они,

один на один, так ужасно сосредотачиваются в совокуплении, так пыхтят и тужатся, наливаясь малиновым лицом, будто бы на горшке сидят. А потом снова кабинеты, заседания, выговоры и поучения. Я, например, могу целый день смеяться над такой пустяковиной, которую они даже и не заметят. Вот вчера мы устроили небольшой пикничок, на даче, как мы называем это — "пикник имени товарища Валтасара". Нас было шестеро и, когда мы утомились и легли все на широком ковре возле печки, животами вниз, я оглянулась и не могла удержаться от смеха. У всех шестерых одинаковые молочно-нежные задницы, не разберешь, где парень, а где девчонка.

Нет, та, с которой я прошу не мешать меня, не рассмеется от этого. У нее одно лишь, в ее святилище, стены которого ханжество, — ненависть и административная жестокость. Среди этих стен стоит кряжистое узловище фаллоса. Это ее Бог".

Как вдруг она прервала свою болтовню, встрепенулась вся, указывая на кого-то: "Вот, вот же она, моя кухня". И мгновенно похорошела. Стала прекрасной, как диковинное нечто, вытасченное со дна моря и переливающееся.

Я не хотел. Я знал. Я приготовился к отчаянному сопротивлению, но тоска уже крепко оседлала меня. И жгла.

Моя знакомая, увидев, все поняла. Прильнув ко мне, она целовала меня, горячо, много раз, как целует мать ненаглядное дитя. Мать, убегающая к любовнику.

Она ушла вприпрыжку и напевая. Сразу определился вечер, хотя и был уже давно. Обозначилось веселье кругом, шум, воздушные шары, фейерверки, гуляние толпы. Проистекание людских косяков. Раздавались пение и смех. Чужой смех и чужое пение. Я шел, забыв о своем наряде... Как вдруг кто-то окликнул меня сбоку: "Девушка, что же вы грустите? Вечер так хорош, кругом праздники. Не мог бы я чуть поразвлечь вас?"

Я вздрогнул, но, увидев и поняв все, уже забавлялся в душе ошибкой окликнувшего. И промолвил, как можно женственнее: "Ну что ж, попробуйте". Пристроившись рядом, лов-

ко, но еще как бы в стороне, шел стройный малый и болтал нечто дежурное, нужное для знакомства. Случайного знакомства в парке. Я отвечал со всеми женскими ужимками и все более развеселялся, потряхивая кудрями и радуясь тому, что тоска удаляется, и представляя себе смешной вид ухажера при открытии истины. И звонко смеялся, по-девичьи смеялся, войдя в роль.

Мы шли беседуя про разные разности. И вот рука его уже на моих плечах и жаркий шепот: "Люблю девочек с широкими плечами, девочек сильных, как юноши". Он говорил еще что-то и распялся все более. Веселье кругом, музыка, шум как бы взбухали. Празднество становилось неистовым. Как всегда перед концом неистовым, чтобы потом опасть, опустеть разбросанностью бумажных цветов, лент, беспорядочно стоящими стульями.

Мы забрались на крышу одного из легковых автомобилей и, лежа там, разглядывали колеблющуюся в танце людскую массу. Как вдруг рука парня, скользнув по моей спине, легла мне на ягодицы. Игра сразу пресеклась, и я сказал ему своим голосом: "Эй, приятель, извини меня, можешь требовать удовлетворения, но я дурачил тебя. Я далеко не девушка, это мой карнавальный костюм".

На что он ответил улыбаясь: "А я знал это с самого начала и думал, что мы играем в одни и те же игры. А что касается удовлетворения, конечно, потребую и тотчас же. Тут недалеко есть одна темная аллея". И он не снял своей руки с моих ягодиц. Я схватил его руку, он не давался. Глаза его вспыхнули мрачным огнем. Это были глаза насильника.

Моментально я столкнул его с крыши авто и спрыгнул сам. Драка была неизбежна. Он же, отскочив, взмахнул руками. И в них обеих щелкнуло нечто, сверкнуло и оказалось двумя тонкими, острейшими бритвами. В обеих руках бритвами. Теми, что хулиганы называют "перьями".

Холодный гнев зажег во мне вид этих "перышек", и все неудачи, и вся тоска поднялась со дна души. Разгоралась ярость, холодная ярость. Я отчетливо слышал реплики сразу собравшихся вокруг: "Эй, погляди-ка, девка-то не из бояз-

ливых". "Дурак ты, не девка это. Педики это, что-то не поделили между собой".

Между тем парень приближался ко мне. Угрожающе приближался. И лицо его было лицом убийцы. Мы ходили кругами, исполняя некий танец, ритуальный, древний, страшный танец. Я неотрывно глядел в глаза противнику, изливая в них всю ненависть, ко всем моим несчастьям ненависть. Я заметил, он нервничает. Я глянул за его плечо и вскрикнул. Он тотчас оглянулся тоже, и в этот миг я схватил его за оба запястья и ударил ногой... Раз... Два... Три... Мгновенно, в лицо, в солнечное сплетение, в пах. Тройной дуплет, со всей возможной силой. Ножи выпали, парень обмяк. Я отпустил его руки и он упал.

Я шел по темным, безлюдным аллеям, буквально испепеляемый ненавистью к Богу. Кошунственной ненавистью. Я гневно кричал ему, выговаривал: "Зачем ты дал мне эти дурацкие кудри, свежий цвет лица, стройность и прочую дребедень, если не дал главного — счастья? Зачем издеваешься надо мной? Я не подопытное животное, слышишь ты, алхимик, бездушный исследователь! Я низвергну твои статуи, я вымажу нечистотами твои символы, я сожгу твои изображения, я разрушу твои храмы и сравню их с землей и на месте их поставлю храм Презрения к тебе. Я..."

И тут я услышал голос. О, я узнал его сразу. Я хорошо знал его, с детства знал. Скрипучий, с клекотом застарелой простуженности, голос вечно недовольного старика, с явной неприязнью говорившего теперь со мной: "Глупец, жалкий глупец, всегда жалующийся, истеричный глупец. Помнишь ли, как ты кричал и плакал раньше, задолго раньше? Не помнишь? В этом и есть твоя беда. Только помнящий может чему-то научиться. В прошлой жизни, когда ты был колченогим калекой, когда ты чуть не кусал от ярости подножия моего изображения, помнишь ли, как просил? Дай мне счастья, как у всех, кричал ты, дай кудри, как у Эвмена, дай фигуру Агесилая, дай красоту Лисандра. Почему я жалкий калека, почему я предмет насмешек или сочувствия, почему я,

чувствующий суть женщин лучше других, лишен их? С трудом я выслушивал твои вопли, с отвращением, потому что так же, как и вы, вынужден делать черную работу. Я дал тебе то, что ты просил, но..."

Внезапно он смолк, капризный старик, потому что послышались осторожные шажки. Владелец шажков, человек средних лет, медленно проходил мимо меня, замедляя шаги проходил. И чем ближе ко мне он продвигался, тем более на его лице проступало изумление, а потом и страх. Одними губами, полушепотом, он произнес: "Маргарита?.." И вдруг, обернувшись, бросился бежать.

Еще не остывшая ярость вновь овладела мной. "Да вы что все с ума, что ли, посходили?" — рявкнул я и бросился в погоню, но человек исчез с мультипликационной быстротой, как в воду канул.

Я долго еще бушевал, колотил ногами скамейки, пока, наконец, не почувствовал, что разрядился и злость ушла, и скрипучий старик прав, и гражданина я напугал напрасно. Я присел на скамью, и сколько я так сидел, не знаю. Отдыхал. Как вдруг уловил какое-то шевеление под собой, а еще через минуту, запустив руку под скамейку, выволок оттуда на свет фонаря давешнего гражданина средних лет. Он же, помятый, в приставших к костюму листьях, уже не дрожал, но все еще был испуган. В изумлении он оглядывал меня, как некогда Пятница оглядывал Робинзона, щупал мое платье, трогал волосы, бормотал что-то вроде: "Какое сходство, какое поразительное сходство".

Я, чувствуя некоторую вину перед гражданином, помог ему очиститься от травы и листьев, после чего он присел на скамью и начал свой рассказ такими словами:

6

Постепенно я возненавидел ее. А вернее, подошел к тому рубежу, где уже пора было начать ненавидеть. Потому что она преследовала меня. Все время шла по пятам. Пока еще я сознавал это холодно, как бы равнодушно. С досадой равнодушно от этой мухи. Назойливой мухи вокруг лица.

Не знаю, было ли это любовью с ее стороны. Я склонен думать, что это была просто реакция мощной биологической системы ее организма, диктовавшей ей: "Вот он, этот мужчина. Может, хуже, а может, лучше других. В одном плохой, а в другом хороший, но единственно он даст тебе того качества детеныша, коего требую от тебя я". Действовала та непонятная, но точная схема, что частенько вызывает недоумение типа: "Она (Он) не пара ему (ей)".

Такова была суть этого всего, вытащенного из-под красивых панелей. На панелях же были голубые и розовые завитушки: любовь, слезы, угрозы, мольбы и самые разные разности, на какие способна целеустремленная женщина. Мне, повторяю, она была скучна. Может, для других она и была прекрасна, вожаделенна, с других профилей. Но с моего, того, с которого я ее знал, она была символом унылой и зыбучей тоски моего прошлого.

Как злой дух, преследовала она меня повсюду. И какие только номера ни выкидывала эта женщина. Надеясь разбудить меня, она приходила ко мне в гости с роскошными кавалерами, подстерегала меня в метро, плакалась моим родителям по телефону. И всюду ездил за мной. И всюду присутствовала сбоку, подобно унылому призраку.

Поэтому, испробовав все, вплоть до грубых выталкиваний взащей, я стал просто убегать, скрываться. Неожиданно, ночами, изменив фамилию и утаив направление следования. Тщательно заматывая следы, стал убегать. Но... Но она все же находила меня.

Я уже начал предполагать целую службу розыска в найме у нее. Я представлял себе эдаких парней, в серых заграничных пальто, небрежно опирающихся о стол администратора и неожиданно, как револьвер, выхватывающих мое фото ему в лицо. И стальные глаза этих парней...

Конечно же, я преувеличивал в своих догадках, но, как бы там ни было, мое терпение иссякло, и я решил бежать теперь по-настоящему. Я долго и тщательно продумывал свой план. Пару лет я терпеливо ждал, и, наконец, мне удалось добиться путевки в дружественную нам Индию. На один из ее курор-

тов. Оттуда я предполагал смыться и стать тем, что называют невозвращенцем.

И вот настал, нет, грянул этот день, день отъезда. На этот раз божество, кажется, смилостивилось надо мной, потому что я не чувствовал погони. Надо заметить, что у меня развилось своеобразное чувство, безошибочно оповещавшее меня о действиях моей преследовательницы. Впрочем, где-то таилась и другая мысль, весьма и весьма настойчивая, о том, что именно это чувство было следом, по которому шла погоня...

Как бы там ни было, но остров назывался — "ОН".

Остров — "ОН".

Их была целая группа островов в океане. И они, недавно открытые, приносили баснословный доход предприимчивым владельцам. Потому что были сказочно прекрасны. Воистину, те самые острова блаженных на краю седого океана.

Вообразите себе в нежно-бирюзовой мути водных просторов как бы кусочки пемзы. На глади воды — кусочки пемзы. Изъеденные впадинами, выступами, прекрасно замшелые. Зеленой, шелково колеблющейся замшелостью. И кое-где приставшие к ним тончайшие белые пирсы с крохотными корабликами. И бездонная голубизна надо всем, и бесконечные просторы океана...

Такими предстали передо мной, с самолета, острова группы "ОН". Пять островов.

И потом, когда мы уже совершили посадку и отплыли на пароходе от аэропорта, то увидели, что острова, по-прежнему пемзообразные, стали величавы. Огромны. Со свисающими космами тропической растительности. С величавыми разворотами, как бы снисходительно позирующими перед испуганной жужелицей, нашим пароходиком. И в основании их неумолчное, вековое биение волны. Различное биение. От нежного причмокивания, как о днище лодки, до неистового налетания на утесы. И водяной прах с радугами, и громкое "О" эха в лабиринтах полузалитых пещер...

Незабываемое зрелище.

Уже здесь, на палубе парохода, я ощутил некое облегче-

ние, как бы внезапно павшее с вершин этих островов. Я еще не верил ему, думая, так и должно быть, обычное целительное воздействие моря, солнца, воздуха. Но вот еще одно, мысли о моих несчастьях покинули меня, невероятно, но так. Внезапно удалились, камнем на дно канули. Сколько я ни думал после о природе этого, никаких доводов привести не мог, убедительных доводов рассудка. Однако же это — тревожное внутри меня — вдруг погасло. И душа опрокинулась, ставши невесомой. И в гулком молчании океана, в его дымчато-голубой сути, ровный шум, и крики морских птиц, сами парящие, сами взмывающие, как птицы, и все приглушенное, пресеченное световой, солнечной, прозрачной стеной, которая вставала везде, куда бы вы ни обратились...

Мы миновали острова и подошли к одному из пирсов. Беспредельная власть океана сразу отступила. Солнце стало жарче, возникла пляска мелководья, людская суета, скрип фуникулеров, жужжание вертолетов. Сразу же обозначилось множество коттеджей, скрывавшихся в пышной зелени. Самой разнообразной и диковинной архитектуры коттеджей, на всех высотах и в самых головокружительных положениях.

Уже на второй день я почувствовал себя так, будто уже давно жил здесь и вовсе не имел несчастий. А о которых и помнил, так будто не мои были, а чьи-то, о ком мне подробно и впечатляюще рассказали...

Конечно же, было осмотрено тотчас все. Появились более любимые и менее любимые места. Но не было не любимых. И в этом волшебная суть острова "ОН".

Тут необходимо небольшое отступление, имеющее непосредственное отношение к рассказу. Собственно остров "ОН" был один из всей группы островов. Один, носивший это имя и отстоявший несколько поодаль от других, как говорили нам, в зоне уже пограничных вод. Остальные же носили общее название "Острова группы (ОН)". О красоте его я расскажу после, а теперь хотел бы упомянуть об одной особенности, касающейся его. Как я уже говорил, он был расположен в зоне пограничных вод, и потому каждый вечер вой сирен возвещал о временной эвакуации на ночь. Отдыхающие

покидали свои коттеджи и отправлялись на "базу", то есть на другие острова. Все это, однако, в силу известного закона о запретном плоде, делало этот остров еще более желанным для туристов.

И вот, именно на этот остров мне удалось попасть сразу. Это была удача. Фортуна постепенно оборачивалась ко мне, и уже сверкал золотой край ее щеки.

Я выбрал понравившийся мне коттедж наверху острова. Роскошные хитросплетения архитектуры, бетонной, арматурной, с сияющими стеклами, в сочетании с естественной пещерой, делали ее похожей на жилище кого-либо из эмирата. Уединенное, вознесенное над океаном, покрытое коврами и увешанное занавесями жилище...

Звенел фонтанчик, свисали и заползали в комнаты тропические растения. Сигали ящерицы. Скрытый под сводами, рассеянный, цветной, прямой свет и приглушенная музыка были к вашим услугам. А при выходе из коттеджа — бассейн, находившийся в естественной пемзообразной чаше. И всегда чистейшая вода из источника.

Интересно то, что система бассейнов на этом острове была так называемая "балконная". Естественные углубления по всему острову, внутри него, внизу, вверху, свисающие наподобие ласточкиных гнезд, использовались, как бассейны. Я имел как раз такой бассейн, в виде ласточкина гнезда.

Это были райские дни.

Я не включал музыку, музыкой служило мне биение родника. Звонкое, под сводами пещеры, пение птиц. Не боящихся человека птиц. И далекий прибой внизу, еле слышный, вроде ласкового нашептывания...

Я совершенно забыл о своих невзгодах в этом новом Эдеме. Ко всему приятному случилась и любовь. А может, и просто увлечение. Не знаю. Во всяком случае, это было нечто легкое и радостное, как бывает, когда спускаешься с девушкой к морю, к дымчато-голубой стене моря и на бронзовом плече трепещет полотенце.

Познакомились мы с ней несколько необычно. В один из дней, когда солнце уже клонилось к закату, то есть к тому

часу купания, после которого подают свой голос сирены. После которого веселые разноцветные вагончики фуникулеров уносят всех вниз, к белоснежным пароходам. Я как раз плескался в своем бассейне и чувствовал себя так, как если бы нырял в огромной, наполненной водой, ладони циклопа. Циклоп вознес меня высоко над морем так, что я видел закат, который для меня еще только начинался. Разгорающийся камин заката. Для тех, кто был внизу, на пристани, закат уже неистово пламенел. Там уже родились синие тени и рыжий пух сумерек взбухал.

Все это я видел, находясь в воде и опершись о края чаши. И ощущая под собой бездну. И вспоминая птичье прошлое, кармическое нечто ощущая...

Как вдруг услышал голоса внизу и, вылезши наполовину в бездну, глянул вниз. Я увидел массу "ласточкиных гнезд" купающихся и лежащих... И прямо подо мной, в чаше подо мной, плескалась девушка. Обнаженная девушка, резвившаяся наядой. Перемежающиеся пластины воды совершали чудеса с ней. Тело ее преломлялось, расчленялось на части, опутанное бликами. Она дельфином выбрасывалась из воды. Она встряхивалась, как зверь. И, конечно же, капли на ресницах, и розовый халатик на камне, и брызги, летящие вниз, в пропасть. Вспыхивающие радугой брызги.

Она перекликалась с какой-то женщиной, выглядывающей из далеко отстоящего бассейна. С встревоженной женщиной, делающей ей какие-то знаки и что-то кричащей. Но что, из-за дальности расстояния разобрать не было никакой возможности. Девушка смеялась и кричала в ответ, что ничего не слышно, и снова смеялась. И тут я понял, что та пыталась предупредить ее обо мне, подглядывающем, наподобие силена. За купанием наяды подглядывающим.

Женщина, ничего не добившись, ушла за скалу, а я продолжал наблюдать, стараясь оставаться незамеченным. Девушка уже сидела на камне, перебирая и встряхивая богатство волос.

Позже мы познакомились. Как оказалось, она видела меня тогда, в тот вечер. Она хохотала, вспоминая отражение моего

лица, пляшущего наподобие луны в бирюзовой воде, и в зеркале, в которое она гляделась, причесываясь.

Мы стали проводить с ней все время. Была ли моя подруга так хороша, как мне казалось? Не знаю. Скорее, это было все то же волшебство острова "ОН". Была ли это любовь? Пожалуй, была, если сравнить это с тем удушьем, от которого я бежал. Я, уставший думать о будущем, уставший бояться, наслаждался теперь настоящим. Был счастлив теперь и более знать ничего не хотел. Моя же подруга задумывалась уже. С дальновидностью самки задумывалась. Начинала мечтать о будущем.

Так шли дни. Нет, летели дни. И я, старым скрягой, пересчитывал их и не хотел отдавать, с трудом расставался с ними...

Как вдруг, однажды утром, рассылный подал мне письмо. Ничего не подозревая, я раскрыл его и стал читать. В записке было: "Любимый, ах как ты нас всех напугал своим исчезновением. Ну, разве так можно, милый? Бог с тобой, я прощаю тебе это, как и многое другое простила. Буду у тебя вечером. Как ты здесь один? Впрочем, обслуживание здесь прекрасное, и это меня успокоило. Не грусти, вечером мы будем вместе. Любящая тебя, Маргарита".

Сразу наступила тишина, какая бывает, когда нырнешь под воду. И эфемерность подводного мира настала. Потеряло смысл притяжение. Я видел — Ньютон и Архимед спорят, остервенело спорят друг с другом. И лишь водная среда, колеблющаяся, испещренная разноцветными рыбками, вертикально и горизонтально плывущими, лишь водная среда умеряла пыл ученых. Движения их получались медлительны, звуки гневных слов тягучими и неясными, серебряными пузырями, струящимися вверх... Наступал бред. И в голове были Содом и Гоморра, в момент испепеления их. Время, мое счастливое время, катилось к закату и, как все падающее, увеличивало свою скорость. Я физически ощущал бег времени, истекание его...

Звон часов услышал я в отчаянии. Ударило четыре пополудни. Насмешливое, из мелких божеств, нашептывало мне,

цитируя: "Не грусти, вечером мы будем вместе". И добавляло язвительно: "Любящая тебя, Маргарита".

"Маргарита" — ужасное слово, думал я, сидя в оцепенении. Нечто от скрипа милицейского сапога в звучании этого имени.

Зазвенел фуникулер, раздались шаги. Это была она. Я вяло поздоровался, пребывая еще в оцепенении. Я вяло беседовал, постепенно приходя в себя. И, выплыв из глубин, куда был низвергнут так неожиданно, обнаружил вдруг, что все не так уж и трагично. И несколько приободрился, настолько, что стал даже непринужден. Я встал и прошелся, потирая руки. Я обратился к гостье. Голос мой не фальшивил, и я ничем не выдал себя, так велико было отчаяние: "Итак, дорогая, ты неутомима по-прежнему, я же чувствую, что мои силы иссякают". Я надел маску раздумья и покорности, продолжая: "Да, видимо, твоя взяла. Ко всему я страшно устал от этих убеганий. Видимо, ты права. Так надо".

Я говорил, а она сидела, замерев и лишь перебирая пальцами какую-то нитку. Зеленую нитку. Упругая нитка не давалась, извивалась изумрудным насекомым.

Присевши рядом, я добавил для пущей искренности и убедительности: "...и, может быть, со временем, я и привыкну к тебе, так сказать, в течение семейных будней".

Был включен телевизор, музыка, впервые в эти дни. Я подкатил к ней тележку с вином и фруктами, после чего объявил: "И еще одно приятное совпадение. Сегодня будет ночной бал на острове. Сирены, которые прозвучат через час, возвестят о начале карнавала. А я сейчас слетаю, закажу хороший ужин нам..."

Удивительно, но она верила мне, никогда не верила до этого, была дьявольски проникательна. Не верила даже тогда, когда говорил правду, а теперь, когда лгал... Для верности я сбросил пиджак и оставил его, сославшись на жару.

Я летел на фуникулере вниз. Самолет в Европу отбывал через пару часов после сирен. Надо было спешить. Последним я успел вскочить на пароход. Уже дрогнули машины в его недрах, тяжело задышали, наполнив его от кормы до носа

мельчайшим песком вибрации. Неожиданно отделился пирс, и за ним, по очереди, стали отваливаться камни, портовые постройки, скалы, яхты, корабли. Вот они все вместе, единым фронтом отходят от нас, и океан уже синь, и чуетя его глубь. Лишь лодочки запоздалых гуляк пляшут еще рядом, но и они, одна за другой, быстро удаляются...

Остров "ОН" подернулся дымкой, остров "ОН" терял четкость своих очертаний.

Я стоял на корме, опершись о поручни и пытаюсь совладать с собой. Собственно, никаких волнений или поводов для волнений не могло быть, настолько у меня было все продумано и подготовлено заранее. Другое было. Расслабился я несколько, поживши в этом Раю, слишком быстро привык к нему. Но теперь все. Это был всего лишь полустанок. Теперь дальше. Надо дальше идти. Как Агасферу, всегда идти.

Кто-то подошел, кто-то оперся о поручни рядом. Я оглянулся и увидел одного из нашей туристской группы, человека энергичного, знающего всех и все, неумной энергии человека. И всегда говорящего, без перерыва говорящего. И тут же он начал мне рассказывать что-то...

И в эту минуту донесся до нас вой сирены. Далекий рев неведомого апокалиптического исполина. Я заметил это моему собеседнику: "Что-то леденящее душу есть в звуке этих сирен, я всегда ощущал это, но вот сейчас это как-то особенно устрашающе".

Тот склонился ко мне, понизил голос: "Крики сирен? Да вы попали в самую точку. Это, действительно, крик ужаса. А эвакуация каждый день? Граница, скажете вы? Граница отстоит от острова на добрых двести-триста миль. Впрочем, расскажу все по порядку. Познакомился я тут с одним иностранцем, лицом ответственным, но, как и все иностранцы, общительным, любящим поговорить. Он криминалист, но более сложного порядка, чем просто криминалист. Специальность его — некий коктейль из физики, химии, психологии, медицины и оккультных наук, на службе криминально-сыскальной работы.

Началось все это пару лет назад, когда братья Бредшней-деры решили сделать из этих островов то, чем они являются теперь. К чести братьев надо отметить, они добились своего. Это, действительно, одно из самых стремительных и доходных дел, известных за последнее время. Однако один из братьев сложил голову на этом. Их было четверо, и тот, умерший, был геолог и строитель. Как-то раз он с группой рабочих отправился на этот проклятый остров, дабы разведать его геологическую структуру и сделать кое-какие черновые наброски будущего строительства. Как видно, ночь застала их на острове. Наутро они не вернулись. Обеспокоенные братья послали туда катер, и на острове были обнаружены лишь их трупы. На телах умерших не нашли никаких ранений при самом тщательном осмотре. Но ко всей загадочности происшедшего — их лица. На лица их было страшно смотреть, вспоминался миф о Медузе Горгоне, потому что лица их буквально окаменели в выражении ужаса.

Тут же сразу вспомнили некоторые особенности этого острова. Он был замечателен совершенно необычайной флорой и фауной. Все здесь было необычно пышное, яркое, буквально сказочное, если не сказать райское. Вы сами убедились в этом. Следующее, что вспомнилось, это то, что несмотря на всю эту красоту — плодородие, постоянную погоду — никто не жил на этом острове. На других жили, а на этом нет. И хотя на других островах было все то же, однако более блеклое, более обыденное, с грязью, с пылью, сдохлыми чайками... Кинулись к старожилам. Те ничего связного не рассказали, кроме каких-то несусветных сказок о том, что, дескать, не для людей этот остров, с давних пор на нем табу. Нашлись образованные фантазеры, которые стали проводить параллели с разными преданиями, а, в частности, с одним из походов Синдбада-Морехода, когда тот посетил остров, покидаемый жителями каждую ночь, из-за того, что в город приходили обезьяны. Короче, много было суеты в верхах по этому поводу, но они, лишь приняв все это к сведению, решили заняться более земными делами, а именно — назначить следствие.

Через неделю на этот остров прибыл отряд полицейских, устроивший засады на различных высотах острова. Пока ни у кого не было еще того парализующего страха, который исключает теперь самую из самых материалистически трезвых позиций по этому вопросу. Страх не было. Да, так эти полицейские, что бы вы думали? Та же картина, те же гримасы ужаса.

Местные власти прислали распоряжение закрыть доступ на остров вплоть до окончания расследования. Однако братья уговорили их повременить. И вот результат, ежедневная эвакуация. Последнее же происшествие окончательно решило коммерческую судьбу острова. Он будет закрыт. Владельцы, конечно, огорчены, однако они успели и окупить все расходы на него, и сколотить себе капиталец, и в местную казну положить немало.

Несколько недель назад, небольшое, но вооруженное до зубов десантное судно, под покровом ночи приблизилось к острову. Была ярко выраженная южная ночь, звезды и если бы не тревожное ожидание, и не солдаты, притаившиеся у орудий, не хватало бы гитар и полинезийских девушек с венками...

Внезапно все увидели некое мерцание в силуэте острова, одно, второе, вот их уже несколько. Будто бы невидимые кто-то спускались с его вершины к морю, держа светильники в руках.

Тихо прозвучала команда, и десант скрылся в черной тени острова. На корабле воцарилось гробовое молчание. Ждали долго, приготовили уже другой шлюп, чтобы выяснить причину тишины... Как вдруг раздался крик. Тишину южной ночи прорезал крик ужаса. Только с выражением лиц тех таинственно умерших можно было сравнить этот крик.

Уже не таясь, включили прожекторы и ринулись к берегу... И в этот момент, когда уже собирались высадиться на берег, вспыхнула заря, внезапное южное утро вспыхнуло. Впоследствии, когда вспоминались все подробности, пришли к невольному выводу, что именно восход был спасителем остальных.

В воде, у самого берега, был обнаружен плавающим один из солдат. Он был вытасчен на палубу, приведен в чувство... Но ничего не мог рассказать, потому что разум его был полностью разрушен. На берегу была все та же картина и ни одного патрона не выпущено.

Тотчас находившиеся на борту были приведены к присяге о сохранении тайны. Властям был послан подробный отчет. И буквально на следующий день вопрос об острове был решен. Так что мы одни из последних, отдыхавших в Раю.

Когда же я спросил иностранца, что же за чертовщиной было все это, он ответил буквально так: "Не знаю, и не потому, что не знаю или не догадываюсь, либо не могу предположить, но просто, по-человечески, боюсь, как обычный смертный, боюсь не только что говорить, но и помыслить об этом. Этот ужас я ощущаю, как табу, того сорта табу, что было для древнего, не осмеливающегося произнести запретное имя, но произносившего вместо него многие другие, или просто говорившего — "ОН".

Мой разговорчивый собеседник продолжал рассказывать еще о чем-то, а я сидел, погруженный в полное оцепенение, ощущая ледовитое дуновение бездны и холодную воду глаз, наблюдающих за нами. Те двое, бывшие внутри меня, обвиняли друг друга: "Ты убийца" — утверждал один. Но другой оспаривал его, отвечая: "Убийство - есть преднамеренно обдуманый акт, а это всего лишь несчастный случай..."

Но их спор мало трогал меня, третьего. Теперь третьего. Ничтожество их спора было очевидно, потому что я почувствовал облегчение, потому что никуда теперь не надо было убежать.

"А интересно, погибшие были только мужчины?" — задал я бессмысленный вопрос, видимо, как остатки моих беспкойств вопрос. Собеседник мой воспринял его, как деликатный и игривый намек о прекращении грустных разговоров. Он развеселился, и ответил в тон мне: "Мой сосед по лестничной площадке, Егорыч, обычно говорит так: — В каждом деле баба для запаху нужна, — но это, видимо, было единст-

венное дело без оной. Не беспокойтесь за женщину, живучие существа они, доложу я вам. Сама земля-мама за них горой. Сама рождающая, она охраняет все подобное ей. Вспомните-ка вечернюю улицу, со скамеечками у подворотен. Одни бабули сидят, редко старика увидишь. И активные такие, неутомимые, мало того, что дел у них с внуками невпроворот, но и помимо этого в курсе всех событий: и кто к кому пришел, кто с кем спит, кто сколько зарабатывает... В этой связи одну историю расскажу вам, это, пожалуй, даже не просто история, а прямо-таки панегирик женщине."

Мой собеседник умолк на минуту, но только лишь на минуту, после чего так продолжил свой рассказ:

7

Я знал их еще с детства. Они жили на заднем дворе. Они были карлики. Их было трое: два мальчика и одна девочка. Конечно же, они были парии, были неприкасаемыми нашего двора. Ребята не били их и не дразнили, но просто избегали. Разговоры смолкали при них, со взрослой неловкостью тотчас расходились ребята...

Разве что среднему из них делали снисхождение. Его иногда принимали в игры, терпели его, а иные даже любили. Любили за его талант. Талантом его было его обаяние. Оно проявлялось во всем — в его поступках, в манере говорить, оно светилось в его маленьком, мягком лице. Качество этого обаяния было бы незаурядно для любого нормального человека.

Старший же из них пребывал в совершенном, я бы сказал, в глубинном одиночестве. Это был уродливый малыш, со странным взглядом, взглядом, который мало кто выдерживал. Он был первый ученик в школе. Учителя говорили с ним на "Вы". Он шел на целых четыре класса впереди своих сверстников и был при этом отличником. Он мог разрешить любую задачу, он был победителем на всех математических конкурсах в масштабе города ли, района ли...

Но вот кончаются уроки, и на вечеряющей, шумной улице

футбол, беготня, соперничество в силе и ловкости, борьба за первенство в мальчишеской стае. И первые девочки...

Лишь догадываться можно было о том страшном, что творилось в его маленьком сердце.

Сестра же их была совершенным ничтожеством, былинкой, еле таскавшая свой портфельчик, набитый тетрадками и бумажками...

Прошло много лет. Зашел я как-то в этот дом, к своему приятелю зашел. Приятеля не застал и, подождав немного, повернулся было, чтобы пойти прочь... как обнаружил вдруг мальчика, стоявшего передо мной. Через мгновение я понял, что это не мальчик, ко карлик. А еще через мгновение я узнал среднего из них, и был узан им.

Это была уже взрослая особь. Маленькие, щегольски сверкающие ботиночки, несгибающиеся от невеликости брючки и лицо младенца. Старого младенца, пролежавшего в банке со спиртом со времен кунсткамеры.

Мы поздоровались, и я ощутил довольно крепкое пожатие маленькой, сильной лапки. Я был приглашен на чай. Когда мы подходили к парадному, он сказал мне: "Сейчас вы увидите его, нашего старшего брата. Прошу вас, не думайте ни о чем и не говорите ни о чем, потом мы с вами обо всем побеседуем. А теперь пойдете, он будет бесконечно рад, он всегда любил вас".

Мы пили чай, после чего хозяин поманил меня пальцем и мы вошли в соседнюю комнату. Там, на кресле паралитика, сидел старший из них. Огромная голова его, голова взрослого человека, покоилась на подушке. Маленькое же тельце полностью умещалось на сидении так, что даже ножки его не имели возможности свеситься.

На меня глядели глаза, которые без преувеличения можно было определить, как бездну. Бездну печали, чрезвычайность которой уничтожала даже самую мысль о лицемерии с ним. Глаза, видящие насквозь...

Провожатый мой тронул меня за рукав и кивнул головой. Мы вышли. Уличный гвалт не нарушил тишины внутри нас. Мы хранили молчание. Будто бы из храма необычайному

божеству вышли мы, погруженные в раздумья и провожаемые его взглядом.

Мой спутник первым нарушил молчание, сказав: "Вы знаете, он очень рад вам, он узнал вас. Он не говорил с вами, потому что он теперь нем. Природа отняла у него постепенно все. Но она же дала ему нечто необычное, даже, я бы сказал, устрашающее. Он читает ваши мысли. При нем бесполезно лгать. Многие боятся его".

Мы долго беседовали, и в словах карлика, лившихся торопливо и горячо, я узнал одиночество и благодарность мне за то, что слушаю, и радость по поводу встречи. И деликатное, но страстное желание встречи еще, может быть, когда-нибудь.

И вот мы уже встали друг против друга, дабы распрощаться, как он воскликнул вдруг: "А вот и сестрица наша", и шепнул мне доверительно, как своему: "Со свидания, счастливая с ног до головы".

Навстречу нам шла очень небольшая, но совершенно нормальная женщина, в модном пальто и туфлях. Легкая, карликовая бледность лица слегка выдавала ее, но лишь для того, кто знал ее тайну...

Заметив брата, она ускорила шаги, молодая, сильная и даже красивая женщина.

Карлик вызвался проводить меня до автобуса, и мы пошли не спеша. "Сестра,— рассказывал он,— пришла навестить нас. С большим скандалом, но я ее выпроводил из нашего дома. И наказал ей, чтобы она и не заикалась о нас никому. Пусть хоть один из нас будет счастлив."

"Простите меня, — удивился я,— но я видел много веселых карличьих семейств. И не только в цирке, в жизни. Эдакие ангелоподобные, сияющие чистотой существа, перед которыми так называемые нормальные люди выглядят неухоженными слонами из плохого зоопарка. Почему бы и вам...?"

Но мой собеседник мягко прервал меня: "Простите меня, мой друг, я ведь не о карликах, я о себе. Попробуйте сказать любому из них о том, что он ненормальный или неполноцен-

ный и увидите, он будет удивлен. Не рассержен или оскорблен, но искренне удивлен. Почему? Вы такие, а мы такие. И еще не известно, кто счастливее. Я не о них, я о себе. Урод я, а не они, не брат мой, не сестра. Меня, например, отвращают женщины моей породы, карликовые женщины. И я, забыв о том, кто я, с содроганием смотрю на них, кукольно маленьких, с восковыми лицами монахинь. Те же, так сказать большие женщины, мне недоступны. Правда, я встретил недавно одну. Но это было слишком печально, даже для меня, привыкшего к постоянной печали..."

Карлик помолчал немного и начал свой рассказ такими словами:

8

Я гулял со своей девушкой. Было воскресенье. Был тишайший пасмурный день. И в пустынности его лишь автомобили на стоянках. Огромное количество затихших, спящих авто стояли.

Пространства улиц были безлюдными, далекими прострелами, стереоскопически видными во всех мелочах.

Я шел со своей девушкой, и мы вели тихий и нескончаемо прекрасный разговор, наконец-то, отыскав друг друга, наконец-то, отдыхая от одиночества.

Я гулял со своей девушкой, я любовался ею. Это не была роскошная и чужая женщина с яркой рекламной обложки. Она и не была надоедливо родная, долгим сожительством породненная. Но родная издревле, еще с дорождения. Плоть от плоти моей, душа от души. Богом данная мне.

Мы шли и боялись спугнуть это, то, что реяло над нами. Я же думал смутно — это любовь. И грусть уже пела внутри, и сердце сжималось, но я не подавал вида.

Мы остановились, пора было расставаться, однако мы должны были увидеться и завтра, и послезавтра, и вообще никогда не разлучаться. Мы убежденно и наперебой доказывали это друг другу.

Я ласково улыбался, подавляя боль. Я не дрогнул лицом, как тот юный спартаец, чьи внутренности грыз лисенок. Мы простились, и я поспешил уйти, чувствуя накипающие слезы...

Я проснулся, оттого что кто-то тряс меня за плечо. Я услышал: "Что с вами? Почему вы плачете? Вы спите и плачете."

Я был несколько смущен и раздосадован тем, что кто-то проник в это, мое единственное, что было у меня. Но мелькнув, эта досада тотчас исчезла. Лень и грусть овладели мной, и я не хотел подыматься. Оказывается, я заснул тут, в траве, тихой, пустынной улицы. Мне даже любопытно было, кто мой собеседник, и я лишь смутно различал сидевшего рядом, сидевшего напротив солнца. Он силуэтом возвышался надо мной, неким, неясных очертаний, Буддой сидел рядом.

"Простите меня, карлик, — сказал он, — но на вашем лице была такая печаль, что я счел своим долгом разбудить и утешить вас."

В другое время я, может быть, и рассердился, сделал бы вид, что рассердился, собрал бы остатки своей гордости и ушел бы на ней, как на костылях. Но сейчас мне было все равно... "Я несчастен", — признался я ему и рассказал свой сон...

"Протестую, решительно протестую, — рассердился незнакомец, — зачем же вы сами на себя поклеп возводите. Я видел ваше лицо, задолго до того, как вы заплакали. Лица во сне не врут. Раз в сутки лица людей становятся настоящими лицами, какие они есть. Ваше лицо не было лицом несчастного. Почему вы считаете себя несчастным? Ответьте мне, порочны ли вы, трусливы ли вы, похотливы ли, подлы ли? Нет? Почему же вы говорите о себе, как о несчастном. И то, что у вас было во сне, большинству вообще не ведомо. Конечно же, это была любовь. Пусть смеются иные над этим, что они знают о сути этого чувства? По правде сказать, и я затрудняюсь объяснить это понятие — любовь. Что это — любовь? Как говорил Блаженный Августин: "Когда меня спрашивают, что такое время, я знаю, что оно. А когда хочу

объяснить его, я уже не знаю его больше." Что знает большинство людей о любви? Разве, что звучание этого слова различают, слова означающего что-то неясное для них и даже, если это неясное и приближается к ним, по собственной воле приближается, избегают его, стыдятся, либо не умеют правильно воспользоваться им. Не есть ли тайна любви в испытании, искуплении и награде. Когда не дается она, — это испытание за прошлые жизни, когда дается — награда, и всегда испытание. Сумеешь ли понять это, данное Богом, сможешь ли по-настоящему оценить его?

Я частенько думаю об этом. Смешно, скажут некоторые, чего думать, делать надо. Это их установка, земная установка несчастных, лишенных памяти. Будучи молодыми, они не знают покоя от зуда семени. Будучи стариками, они завидуют молодым, так и не изведав настоящего. Любовь для них — это стоячие груди, блеск глаз, кудри, свежесть кожи и все производные чувства от этого, пока еще не сгнившего праха.

Не сказал ли старик Афраний: "Мудрый будет любить, будут желать остальные". Не сказал ли сластолюбец Апулей: "Мудрый не столько любит, сколько вспоминает". Потому что истинная любовь — это всегда воспоминание. Она не возникает, она была всегда и лишь вспоминается. Вспоминаются те времена, что назывались адамическими, когда мужчина и женщина были единым человеком, гармоничным, не нуждающимся в материи.

Но вот рухнул Дионис, рухнул с небес на землю и разбился и части его тела разлетелись далеко кругом, так, что их и разыскать невозможно. Потеряли друг друга мужчина и женщина и лишь смутная память о былом блаженстве, которое невозможно на земле, непреодолимо тянет их друг к другу. Пока не соберут божественного Диониса, рука к плечу, кисть к руке, пальцы к кисти, пока не соберут его, не воскреснет он. Долго будут собирать, долго будут искать друг друга, годами, десятилетиями, сотнями лет, тысячу перевоплощений будут искать друг друга. Будут впадать в отчаяние, в неверие, в содомский маразм впадать будут, но

пока не найдут друг друга, не будет искупления. Рок суров, и из круга рождений не выскочить.

И самое страшное, поверьте мне, карлик, впереди. Сейчас Дионис еще только ударился о землю, больно ударился, но лишь ударился, еще не разлетелся на тысячу кусков. До этого он хоть и был в падении, но был цел. Потому: герои древности, поэты, мыслители, святые, поэтому и женщина, бывшая как божественный символ — материнства, любви, красоты. Поэтому и порода, великолепная порода людей.

Сейчас уже нет этого. А в будущем, когда тело Диониса разлетится от удара, тогда-то и наступит настоящее страшное. Восстанет материя. Будет растоптан дух. Змей сделает свое дело до конца, яблоко было лишь его первым и несмелым шагом. Переставшая быть женщиной, женщина обрушится на мужчину, как обезумевший скорпион, обращающий жало на самое себя. Женщина станет частью Апокалипсиса. Вода затопит землю, тьма — свет, и наступит Хаос.

Но потом... Потом снова забрезжит тихое, розовое утро, через долгое время забрезжит. Наученные страданием мужчины и женщина снова начнут искать друг друга. И тогда приблизится время воскрешения Диониса...

Вот вы грустите о счастье, которое вам недоступно, потому что вы, дескать, карлик, в таком случае, потому что меня тоже не устраивали женщины моей породы, я искал какую-то другую, не такую. Тогда я тоже думал, что я несчастлив. Теперь я понимаю, что мы были неправы. Бог сделал нас счастливее, чем других, он не дал нам забыть ту часть нашей души, которая бродит где-то: здесь ли, в прошлых ли жизнях, в астральном ли пространстве. Мы не должны гнать божество, мы должны беречь эту память, потому что, что такое любовь, в сущности своей? Является ли женщина основной частью этого чувства? Не основной, а лишь очень незначительной. Есть же иные, не имевшие в земной жизни нужной встречи, но имеющие весь накал любви, всю мощь ее, всю ее в полном объеме, но только что не применившуюся

в действительности. Да и надо ли? Реально существующая женщина не может быть прекрасна для нас без любви, любовь может быть прекрасна для нас без реально существующей женщины.

Когда вы спали, карлик, я подошел к вам и любовался вашим лицом. Оно было великолепно, как раннее утро, когда людей еще нет. Я видел на вашем лице розовые лучи нежности, пурпурные блики тревоги, оранжевое сияние счастья. Как музыка, было ваше лицо. Под эту музыку я написал стихи:

"ЗНОЙНАЯ, ПЫЛЬНАЯ УЛИЦА"

Он помнил о том, как еще вчера бродил со своей девушкой по этой пыльной, знойной улице. Помнил, как сидели они под белым тентом летней мороженицы.

Улица была пыльна и безлюдна.

И вместе с тем он знал, что улицы этой уже давно нет. Улицы его детства. Пыльной, знойной улицы.



Аркадий ЛЬВОВ

ТЕПЛО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА

Она думала, что сойдет с ума. Она в самом деле думала, что сойдет с ума, когда он сказал:

— Больше не увидимся.

Сначала, минут пять, они сидели еще на скамье в сквере Юных пионеров. На площадке, освещенной ярко, как цирковой манеж, были разбросаны детские лодочки, дощатые качели, двухметровые горки и еще какие-то непонятные вещи, которые, возможно, тоже были игровым инвентарем. В дальнем правом углу, к металлической зеленой трубе, уложенной на торцы двух столбов, был подвешен канат, толщиной с детскую руку. Ухватившись за свободный конец каната, можно было разогнаться и взлететь метра на два в воздух. Опасности в этом не было никакой, если своевременно поджимать ноги, но женщины — старые, не очень старые и даже молодые — всегда ахали, когда мальчик на канате достигал крайнего верхнего или крайнего нижнего положения. Эти ахи раздавались так часто, что даже теперь, в одиннадцать ночи или около того, площадка не освободилась от бесполовых тревог и страхов.

По дороге к скверу она надеялась еще, что все уладится, что все опять будет хорошо — она повиснет на канате, а он, ухватив ее за ноги, отведет до отказа назад и поднимет над своей головой. Потом, когда инерция иссякнет, она прикажет ему снова отвести ее — только теперь уже не назад, а вперед, и он снова поднимет ее, сжимая ноги чуть пониже икр, у щиколоток, над своей головой. Потом они будут ходить по городу, он будет целовать ее — не только он ее, она его тоже, — и никто, ни он, ни она, не станет оглядываться на людей. Они будут опять целоваться в хорошо освещенных местах, под фонарями, — не для того, чтобы позлить людей или непременно показать им, что плюют с десятого этажа на их мнение, а просто потому, что им будет невмоготу откладывать. И вообще, для чего это, кому это нужно — откладывать, если можно не откладывать?

"Больше не увидимся", — сказал он зло, и она оцепенела, оцепенела сразу, потому что эти слова она уже слышала, когда шла сюда, и изо всех слов, которые она говорила за него и за себя по дороге, только эти, единственно эти, стали его словами.

Потом она встала, сунула руки в карманы болоньи, повернулась к нему спиной и пошла. Болонья, незастегнутая, с льнущими к ногам полами, беспорядочно, торопливо шуршала.

Она не выбирала дороги. У нее не было дороги — все дома, все улицы, люди, трамваи и троллейбусы — были одинаковые. Только машины были разные: легковые и грузовики. Она шла навстречу грузовику, десятитонному МАЗу, который возле ее фабрики — швейной фабрики имени Воровского — остервенело подминал асфальт, сбегая под Строгановский мост.

Дождя не было. Ветра тоже — ночь была тихая, сентябрьская, с красивой одесской луной и красивыми звездами на теплом и мягком, как струящийся над степью воздух, небе.

Когда хлынет дождь, когда сорвется с моря, с Таможенной площади, ураганный ветер, она побежит. Вот они — первые капли, первые удары ветра. Капли катятся со лба на виски,

с висков на щеки и подбородок, в лицо ударяет ветер, не холодный, как она ждала, а горячий и красный.

Неее! Неее! Не!

Боже, как они орут, эти дома! И какое тяжелое у них сердце. Если они не остановятся на том углу, сердце, переполненное тяжестью, лопнет.

Угловой дом, против фабрики, остановился рядом с ней: деревянные красные ворота, два каменных цилиндра у подъезда, поставленные на торцы, и скамья. Тоже каменная. Она села, прижимаясь грудью к каменному цилиндру, дом навалился на нее, и только они вдвоем — камень и она — держали на себе всю тяжесть.

Окна фабрики были раскрыты. Стрекотали швейные машины — ровно, приглушенно, с ритмичными всплесками. Под газосветными лампами, уложенными на потолке, серело пропущенное через хлорвиниловый фильтр декабрьское утро.

Здесь работали только женщины: мужчин было всего двое — механик и электрик. Замужние говорили про них, что они — свои в доску, сора из хаты не выносят. И все-таки оба — и механик, и электрик — порядочные сволочи, не хотят, чтобы еще две девочки стали женами и заимели семьи. Ося, механик, с пущенными на лоб, чтобы прикрыть плешь, пламенными волосами, возражал лениво, между делом, что учитель еще в третьем классе говорил ему: "Ося, не бери пример с бракоделов и не гонись за количеством — пусть лучше будет пять жен, даже чужих, но зато порядочных". Женщины визжали, восторженно негодуя на Осю и его учителя.

Из-за угла, с улицы Гарибальди, пошло тяжелое, со скрежежом, как от тягача, гудение. Она поднялась, провела рукой по плащу, нащупывая пуговицы. До угла было двенадцать шагов. Пройдя эти двенадцать шагов и еще десять до обочины тротуара, она остановилась — панелевоз пересекал улицу Жуковского. Через квартал — ее перекресток. От этого перекрестка до моста — тоже квартал.

Она перешла на правую сторону, потому что с правой сто-

роны до панелевоза будет метра полтора-два, а с левой — метра четыре, и панелевоз, который идет очень медленно, может затормозить, как только шофер увидит ее. Кроме того, под мостом две арки — левая и правая, — и машины, идущие вниз, на Таможенную площадь, проходят только справа.

Эти мысли ее и расчеты были очень ясные, и она удивлялась тому, что все так просто и ясно и прошел этот безумный страх, невыносимая тяжесть и отчаяние. Минувя троллейбусную остановку, она подумала, что лучше встать не перед аркой, а за ней: проезжая под мостом, шофер будет видеть только внутренние стены арки и ту часть улицы, которая далеко впереди, а ее он не увидит, потому что она будет прижиматься к наружной стене моста. Шофер сможет увидеть эту стену, когда кабина окажется вровень с ней. Но еще раньше, до шоферской кабины, вровень со стеной встанут колеса.

Внезапно гудение и скрежет прекратились — она оглянулась: панелевоз стоял на углу, возле гастронома. Открылась дверца, неуклюже, как на протезах, прыгнул человек, повернулся к дверце, подергал два раза ручку и вразвалку, покачивая локтями, пошел к магазину.

Двери магазина были еще открыты, но перегорожены поставленной по диагонали палкой. Шофер поднял палку, и тогда дорогу ему перегородила женщина в белом халате — продавщица, наверное, или заведующая. Шофер сделал шаг влево, затем вправо, пытаясь обойти женщину, а потом полез в боковой карман пиджака, поковырялся там с полминуты и протянул руку женщине. После этого они простояли так — друг против друга — еще с полминуты, и вдруг, круто обернувшись, женщина быстро пошла внутрь магазина.

Пока ее не было, к дверям магазина подходили по одному, трое мужчин, и каждый из них норовил отодвинуть палку. Но шофер всякий раз аккуратно ставил палку на место, и мужчины, чуть-чуть потоптавшись подле него, уходили.

Женщина вернулась минут через пять. Шофер, хотя она еще только подходила к двери, протянул обе руки, чтобы принять бутылку и белый сверток, чуть побольше бутылки.

Она передала ему одновременно бутылку и сверток, а потом вынула из кармана коробку и еще что-то. Коробку шофер взял, а от того, другого, отмахнулся. Женщина кивнула, наклонившись вперед, шофер ухватил ее за подбородок и, опуская руку, скользнул по груди. Она хлопнула его по этой руке, рывком убрала палку, сделала шаг назад и толкнула дверь. Шофер прильнул к стеклу, поднял руку и несколько раз повел в воздухе кистью, сгибая и разгибая пальцы. Потом женщина отступила еще на шаг, толкнула вторую, внутреннюю дверь — и шофер медленно, с той преувеличенной яростностью, которая бывает от досады на себя за нерешительность и нерасторопность, двинулся к машине.

Открыв дверцу, шофер забросил внутрь бутылку, сверток и коробку, а затем полез в кабину сам. Но секунд уже через десять он опять спрыгнул на землю, в этот раз легко и быстро, встал перед радиатором и поднял капот. Сначала под капотом неуверенно, толчками, затарахтело, а потом, после мгновенной паузы, пошло ровное, сильное гудение.

Когда шофер опустил капот, она вдруг почувствовала свое сердце — оно круто, толчками, ударяло в горло, наполнив его тяжестью и удушьем.

Теперь у нее был только один страх — панелевоз обгонит ее и пройдет под мостом прежде, чем она успеет пристроиться за наружной стеной арки. Вначале, когда она побежала вниз от остановки троллейбуса, была у нее еще мысль, что шофер или просто кто-нибудь из прохожих увидит ее, бегущую к мосту, и догадается, но уже через несколько шагов осталось только одно — тот первый страх, что панелевоз обгонит ее. Этот страх был очень похож на другие — те, которые одолевали ее, когда она торопилась к нему и опасалась не застать его или показаться недостаточно красивой. Дорогой она по три, по пять, по десять раз смотрелась в зеркало, но по-настоящему и окончательно оценивала себя только его глазами. "Я сегодня не очень красивая", — говорила она, если он был сдержан, но без сухости. "Я знаю, сегодня я совсем некрасивая", — говорила она, если настроение у него было плохое, и он не скрывал, что оно до того уже плохое,

что дальше некуда, а тут еще она со своими штуками. Какими именно штуками, он никогда не уточнял, но это и не имело значения — важно было лишь то, что он сегодня не очень рад ей.

Шагах в двадцати от моста она вынула зеркало и, не сбавляя скорости, поднесла его почти к самым глазам. Лицо безостановочно прыгало в зеркале, так что она всего три или четыре раза увидела свои глаза, но это, пожалуй, и лучше, что три-четыре, а не больше, потому что всякий раз, когда глаза появлялись, ей хотелось остановиться и рассмотреть их тщательно, как всегда, когда она торопилась к нему.

Что глаза у нее красивые, она узнала от него. Про плечи — тоже от него. Вообще, почти все теперешние ее знания о себе были от него. Нет, он не навязывал ей этих знаний — он просто говорил вслух, что думает, и она всегда, почти всегда, соглашалась с ним. Впрочем, она не думала и о том, что соглашается, потому что его слова были ее словами. А когда случилось иначе и надо было возражать, она говорила "не знаю".

— Не знаю, — говорила она, чуть-чуть отстранясь, — не знаю.

В первое время ему нравилось это ее "не знаю": он говорил, что так и надо, а не, как другие, с ходу лезть в бутылку. Но позже он стал почему-то раздражаться, когда она говорила "не знаю", и со временем ей самой эта манера уходить от прямого ответа стала казаться отвратительной.

— Ты прав, — говорила она, прижимаясь к его плечу, — ты прав, это противно.

Панелевоз спускался к мосту тяжело, осторожно, как будто вползал на гору по щебеночной дороге, которая вот-вот осыплется. Вдруг она почувствовала, что ведь это в самом деле может случиться — откажут тормоза, и грузовик покажется под мост стремительно, и тогда ей уже никак не опередить его. Не только опередить, но даже поравняться с ним нельзя будет. Быстрее, приказывала она себе, еще быстрее, но какой-то предмет в правой руке мешал развить ту скорость, которая позволила бы ей достичь моста хотя бы секунд за двадцать до грузовика. Как ни странно, она думала именно

о двадцати секундах, как будто они, эти двадцать секунд, были точно отмеренным и абсолютно необходимым для успеха интервалом.

— Зеркало, зеркало мешает мне, — объясняла она себе, и одновременно с этим объяснением зеркало полетело вперед, к мосту; ударившись о его стену, оно раскололось. Осколков было много — не меньше, должно быть, двадцати.

Теперь она уже не боялась опоздать — мост был почти рядом, метрах в двадцати, иначе зеркало не ударилось бы с такой силой и не разлетелось бы вдребезги. Пусть у панелевоза даже сорвутся тормоза — все равно ему уже не догнать ее, все равно она успеет спрятаться за аркой еще до того, как он въедет под мост. А мост широкий — тоже метров двадцать. Нет, двадцати не будет — метров пятнадцать-шестнадцать, но это уже не имеет значения — пятнадцать, шестнадцать или двадцать.

Под мостом она услышала стук своих каблучков. Каблуки стучали гулко, торопливо, как будто они тоже, заодно с ней, боялись опоздать.

Гулкое цоканье оборвалось внезапно — мост кончился. Свернув направо, она изо всех сил прижалась к стене — к той самой стене, которую она мысленно видела еще там, на троллейбусной остановке. Но теперь оказалось, что недостаточно стоять вот так, прижавшись к стене, — надо двигаться не мешкая вдоль стены к ее углу, чтобы увидеть панелевоз. Не просто увидеть, а увидеть и точно рассчитать, когда передние колеса станут вровень с наружной стеной моста, к которой она прижалась.

Вся улица от моста до Таможенной площади была пустынная — тускло светили фонари над номерами домов у ворот, даже на площади было темно, как в окраинном переулке на Молдаванке или Слободке, и только желтая стена, отделявшая порт от города, ярко высвечивалась прожектором.

Прижимаясь спиной и затылком к стене, она приблизилась вплотную к углу — теперь она могла достать ребро стены не только кистью, но даже локтем. Двигаться дальше было бессмысленно. Не только бессмысленно, но и опасно — случайно

выставленное плечо, локоть или отвернувшаяся пола болоньи могли испортить все.

Гудение панелевоза стало густым и гулким — до моста оставалось ему, должно быть, метров еще десять, потому что гулкость делалась все круче, все круглее. Она отчетливо, как будто десятитонная машина была не позади, скрытая стеной, а катила прямо на нее, видела расплющенный буфер, два изогнутых кверху клыка на буфере и огромные передние колеса — тугие, как бортовая резина.

Вонзая пальцы в стену, она прирастала к этой стене, прихваченная стынувшим, так, что холод стремительно обкладывал спину и поясницу, цементом. Тело и ноги отяжелели, как во сне, когда внутри, в тебе, чуть не рвется все от напряжения, а рядом лежат свинцовая голова, свинцовые руки, тело и ноги.

Панелевоз въехал под мост — гулкость быстро теряла свою крутость и округлость, вырываясь на пустынную улицу с поставленными далеко друг от друга слева и справа домами. Глубоко, как в кабинете у доктора, где измеряют объем легких, она вдохнула — затылок, плечи и спина быстро отрывались от стены. Лишенные опоры, они на мгновение задержались над тротуаром, а затем, то ли подброшенные сзади, то ли притянутые асфальтом, который был впереди, полетели на этот асфальт, перехваченный сверху блестящей лаковой пленкой, под которой одна чернота — чернота пропасти, бездны или просто чернота, у которой нет никакого другого имени, кроме ее собственного.

Сначала ее ударило, ударило больно, грузно в согнутые и прижатые к ребрам руки, и уже от рук удар передался в грудь — у нее перехватило дыхание, в горле появилась резь, как будто прошлись лезвием с зазубринами, она хотела крикнуть, но мост уже опрокидывался на нее, она успела еще удивиться тому, что мост у нее перед глазами, хотя должен быть за спиной, и новый удар — в лопатки и затылок почти одновременно — вдруг погасил все.

В черноте, которая только чернота и ничего больше, ее понесло вниз — с переменной скоростью, но плавно, так что

никаких границ внутри этой скорости не было. Тело ее, бесплотное и невесомое, плыло безостановочно, по диагонали, вниз, и там, где оно появлялось, в черноте возникали едва заметные, сумеречные очертания человеческой фигуры с подвернутыми ногами и запрокинутой головой.

Она видела себя и понимала, что видит себя.

Потом она услышала голос — голос пробивался сквозь тяжелый, вязкий гул, он был пропитан бензином, прогретым машинным маслом и еще какими-то запахами, машинными и человеческими вперемешку.

Первые слова, которые она услышала, были про мостовую, про то, что переходить ее надо в положенном месте, а положенные места — их каждый сознательный гражданин обязан знать. И соблюдать.

— Слышь: и соблюдать!

Потом пошли слова про Магадан, Колыму и Чукотку, про нашего брата шофера, которому всякая дуреха запросто может схлопотать туда плацкарту. А ты поди, докажи, что я не я и рожка не моя, а гражданин судья скажет: не надо трепаться, мил человек, пятнадцать годов — и ни суткой меньше.

— Поняла? Пятнадцать лет отсидки человеку. А за что? Я вот тебя сейчас куда везу? К доктору, думаешь? Не, не к доктору — я тебя в милицию везу. Там тебе товарищ дежурный такого пластырю наложит, что никакая больница тебя не примет. Ты запомни это, как надо: моя милиция — меня стережет!

Она повернула голову влево и увидела, наконец, человека, от которого шли слова. Сначала человек был маленький, как в перевернутом бинокле, и даже качнувшись в ее сторону и прижавшись к ее плечу, все равно оставался маленький. Потом, после мгновенной судорожной боли в глазах и висках, человек вдруг стал огромным и приблизился вплотную, так что разглядеть его целиком уже не было никакой возможности.

Она подвинулась вправо, еще вправо — человек оставался большим, но теперь она могла увидеть его целиком.

— Чего ерзаешь? — сказал он. — Сиди спокойно, у тебя,

может, сотрясение. Не тошнит? Это хорошо. Я, когда пацан был, со второго этажа свалился. Череп у меня треснул, рубец до сих пор держится. Мутило меня тогда здорово — сотрясение мозга, говорили доктора. А у меня никакого сотрясения не получилось. Студентов из медицинского института приводили, чтобы показать меня: смотрите, фантастический прямой случай. Студенты смотрели, щупали, удивлялись, а потом как пойдут смеяться, аж заливаются. И я с ними. Слушай, платок у тебя есть? Ты кровь промокни на руках — это я крылом тебя саданул. Эх, ты! Сколько тебе? Двадцать? А мне тридцать четыре. Шофер, беспартийный, член профсоюза, холост. Во, анкета! Теперь холост — жена была, бросила. Детей нету. Без детей плохо. Мне бы сыновей, хоть двое, хоть трое. А ты чего не смотришь, когда дорогу переходишь? Хорошо, я притормозил перед мостом, а то ведь мокрого места от тебя не осталось бы. Эх, ты, двадцать лет, а ни хрена, извините, не смыслишь!

Она выпрямила ноги — правая ступня уперлась в жесткое носком и пяткой, а левая только носком. Подавая левую ногу вперед, она уже знала, что каблук сломан, но досады не было. Потом она нащупала оборванную полу болоньи. Голова и спина болели, но не очень. Однако при движении боль нарастала, и вместе с этой нарастающей болью появлялось ощущение мстительной радости.

— У меня такая привычка: тормозить перед мостом. Движение теперь не то, что лет десять назад, и транспорт не тот, а люди ходят по старинке, особенно у нас: где кому мочой в голову ударило, там и переходит дорогу. Тебе теперь смешно и мне смешно. А если бы...

Он не успел закончить фразу: от ворот через дорогу побежала собака, он затормозил, но не до полной остановки, потому что собака внезапно взяла круто вправо, и теперь машина уже не грозила ей.

— Вот стерва, — выругался он восхищенно, — животное, а лучше человека соображает. Не хочет помирать зря, ни, не хочет.

В кабине было душно. Она опустила стекло, потянуло

свежестью с гнилостным запахом выброшенных на берег водорослей — на низинной Приморской в сентябре запахи оседают и держатся стойко, особенно к ночи.

— Так тебя везти в больницу? — неожиданно спросил шофер.

Она не ответила. Ей не хотелось говорить, и она знала, что шофер не повторит вопроса, а будет ждать, пока она сама не заговорит.

Миновали станцию фуникулера. Потемкинскую лестницу, справа, по стене, набегали огромные щиты, призывающие товарищей-портовиков выполнить семилетний план за шесть лет и превратить Одесский порт в порт коммунистического труда.

Минуты две, до Пересыпского моста, ехали молча. У моста простояли еще минуты две — проезд был закрыт. Под конец уже, когда шлагбаум подался кверху, шофер закурил и протянул пачку сигарет девушке. Она отрицательно покачала головой, он кивнул в ответ — понимающе и одобчительно. Было мгновение, когда он хотел словами выразить это свое одобрение, но шлагбаум встал уже вертикально, и надо было спешно пройти под мостом, потому что за панелевозом выстроилось штурк пять-шесть машин.

Гараж был далеко — километрах в семи от моста, возле кабельного завода. Он думал о том, что ей туда ехать незачем, что надо предупредить ее, куда именно он поедет теперь, что оттуда, из гаража, дорога ему домой, а дом его у черта на куличках — в Крыжановке, трамваи туда ходят только до двенадцати.

Но ничего этого он не сказал — стискивая баранку и выжимая акселератор, он гнал из головы слова, которые, не поймешь, то ли нужны, то ли не нужны, и только потом, между электростанцией и заводом Октябрьской революции, когда прошло желание говорить, он понял, что слова эти в самом деле были не нужны.

Оторвавшись от дверцы, она придвинулась к нему почти вплотную, и теперь он постоянно у своего колена чувствовал ее колено — упругое и спокойное. Потом, недалеко уже от

гаража, она прислонилась к нему плечом, и хотя ему было очень неудобно, потому что она стесняла его правую руку, он еще подался корпусом ей навстречу, чтобы не настораживать ее.

Когда слева появились ворота гаража, он, по привычке, притормозил — она вздрогнула, чуть приподняла голову и так, приподнятой, в напряжении держала ее, пока панелевоз не вернул себе прежнюю скорость.

Теперь, когда гараж остался позади, ему показалось, что в самую пору заговорить о главном. Это главное было очень простое и ясное — почему она хотела покончить с собой? Но чуть только он произносил нужные слова про себя и прислушивался к ним, оказывалось, что все они, от первого до последнего, никуда не годятся. Он искал другие слова, но и другие слова, оказывалось, тоже почему-то нельзя сказать ей.

Справа открылось море, опять потянуло гнилостным запахом преющих на берегу водорослей. Но здесь, в Лузановке, к нему примешивался еще болотный дух лимана.

— Море, — сказал он.

Она не ответила — только дыхание ее стало глубже.

Метрах в ста отсюда развилка, и если возвращаться в город, то надо уже теперь приготовиться к повороту, а если ехать дальше, домой, в Крыжановку, то никуда поворачивать не нужно. Но на пригорке КП, и автоинспектор обязательно остановит: куда едешь? кого везешь? предъяви путевочку! Черт его знает, может, и столкнулся бы с ним как-нибудь, ну, а она? Куда ей сейчас эти разговоры с милиционерами!

На развилке он взял круто влево — на мгновение она отстранилась, и он почувствовал неприятную легкость в плече. Когда панелевоз вышел на прямую дорогу, и она вернулась на прежнее место, у него появилось ощущение восстановленного порядка и удобства.

До моста, который отделяет Пересыпь от города, девять километров, а там, у моста, надо будет выбирать маршрут. Может, опять в город? Или лучше по Фрунзе до Товарной? А, ладно, доберемся до моста — погадаем.

Об остановке шофер не думал — не потому, что считал ее

ненужной, а просто потому, что была у него только одна мысль — о движении.

Асфальт на здешней дороге был не то, что на Московской, — в провалах, буграх и выбоинах, он постоянно требовал глаза и твердой руки. Чтобы машину не бросало, надо было через каждые десять-пятнадцать метров пересекать под углом ось дороги. Это раздражало и утомляло. Шофер вдруг пожалел, что не завел машину в гараж, что вот колдует он теперь, по собственной своей глупости, за баранкой, вместо того, чтобы спать дома, как все люди спят.

Мысль об остановке пришла уже неподалеку от моста, да и то, пришла она не сама, а с другой — о пустыре за мостом, где проходит тридцатый трамвай. Странное дело, пустырь этот всегда, даже в летнее время, был забит черной грязью, которая вязалась почему-то с лечебной лиманской грязью, хотя до лимана было отсюда километров шесть с гаком.

Когда пришла эта мысль — об остановке на пустыре, — он уже не осуждал себя за то, что не завел машину в гараж и не спит, хотя другие люди спят у себя дома. Под правым локтем он вдруг явственно, так что захватило дыхание и во рту горячо стало, почувствовал ее грудь. Затем он подал руку чуть вправо и назад, чтобы надежнее было и вернее, потому что за мостом пойдет уже сплошь горбатый булыжник.

Проезжая под мостом, он обдумывал, где именно на пустыре надо остановиться. Лучше всего, справа от дороги, которая ведет на Усатово, — здесь его панелевоз никому не помешает. Он так и сказал себе — "здесь панелевоз никому не помешает", — хотя глаза его видели это место по-другому: панелевоз стоит в дальнем углу пустыря, и никому никакого дела нет до этого панелевоза, и никто не сделает лишнего шага, чтобы заглянуть в кабину или просто осмотреть его попристальнее.

Остановившись, он с минуту сидел молча. Он не хотел тормозить ее, и к тому же непонятно было, зачем это нужно — тормозить ее. И все-таки, когда прошла первая минута молчания и неподвижности, его стала раздражать ее безучастность. Глаза ее были закрыты, но он не мог понять, отчего

они закрыты — оттого, что она спит, или просто потому, что ей сейчас не до слов.

Он высвободил свою правую руку, а затем этой высвобожденной рукой обнял ее — сначала осторожно, тщательно учитывая каждое новое усилие, но вдруг, неожиданно для себя, рывком повернулся, чтобы захватить ее и другой рукой, — и она открыла глаза.

— Мы стоим, — сказала она. — Почему мы стоим?

— Бензин кончился. Не рассчитал. Здесь недалеко бензопомпа — она в семь утра открывается. До семи надо отсиживаться.

Он говорил уверенно, искренне, с откровенной досадой на себя за оплошность — надо же, не заметить, что бензин кончается! Она опять закрыла глаза и уже с закрытыми глазами приподнялась, расправляя плечи. Он понял — она хочет сбросить его руки или, по крайней мере, разжать их, — но руки его оставались по-прежнему цепкими, и она смирилась.

— Тебе когда на работу? Или в институт? — спросил он хриплым, какой бывает после непомерного физического напряжения, голосом.

Она не ответила. Он слышал только ее дыхание — неритмичное, с неожиданными и резкими, как при высокой температуре всплесками. Иногда она вздрагивала и прижималась к нему с упорством спящего человека, который норовит зарыться поглубже, потому что там, в глубине, тепло и безопасно. Жена, когда у них было еще все хорошо, тоже среди ночи вдруг начинала прижиматься к нему с силой, как будто главная цель была не просто прижаться, а втиснуться в него, внутрь, без остатка. И у него тоже бывало такое, но жене это не нравилось. "Ты что, — толкала она его в бок, — нашел телок себе коровку!" После такой ночи они день или даже два-три кряду не разговаривали. Он вроде бы меньше делался в эти дни, а жена все, за что ни бралась, доводила черт знает до каких размеров, так что и повернуться в комнате негде было.

Она застонала, веки ее задергались — он чуть расслабил руки, но тут же, взглядываясь в лицо, он увидел ее губы,

дрожащие, с забранными, как у прячущих свой плач детей, внутрь углами, и опятьхватило у него дыхание и горячей волной ударило в зубы. Он хотел сказать ей какие-то слова, чтобы чувствовать себя уверенно, но нужные слова не приходили. Он забирал ее все глубже в свои объятия, а потом стал вытаскивать на себя, хотя сам не мог понять, зачем это — вытаскивать на себя, — если оба они свободно уместятся на сидении — два метра без малого в длину.

Она не сопротивлялась, и, как ни странно, именно эта ее покладистость понуждала его все время быть настороже. И от этой настороженности, наверное, не проходило у него ощущение неясности и незавершенности, которые, внезапно почувствовал он, обязательно пройдут, как только она назовет его по имени.

— Это же я, — зашептал он торопливо, — я, Володя.

Она не отвечала, потом вдруг закричала "нет! нет!" и, хватив его за челюсть, стала отгибать голову назад.

Пальцы ее впились в кадык, ему было больно, трудно дышать, а главное, захлестывало чувство какой-то несправедливости, насилия над ним, какое бывало у него еще в детстве, когда его оставляли в дурачках. Притом не просто оставляли, но еще давали наперед знать, что оставят, а он все равно ничего не мог сделать, чтобы уйти от этого.

"Вот как, — думал он, отрывая ее руки от своих челюстей, — с ним — да, а со мной, значит, нет, из-за него — под машину, а меня за горло, хотя я жизнь тебе спас! Нет, стерва, я покажу тебе, как за горло хватать! Покажу, какое твое спасибо за добро! Целую ночь мотаюсь, как дурак, еще на инспектора наскочишь, а она — за горло! Ногтями за горло! Слабенькая, стерва, слабенькая, да!"

Она скользнула на пол, и тело ее, от икр до лопаток, прошло у него по ногам; болонья и юбка, собравшись в складки, задержались между ее плечами и его коленями, и от этой мысли ударило его изнутри в ребра — круглым и тяжелым, как обернутое ватой чугунное ядро.

Руки и ноги вдруг перестали слушаться его, в затылке появились слабость и ломота, и тогда она, замерши на мгно-

вание, уверенно оперлась локтями о его колени, поднялась и села рядом. Потом она взяла его руку, приложила к левой груди, чтобы показать, как стучит ее сердце, и осторожно вернула эту бессильную его руку на диван.

Сначала у него была только слабость и нудная, как при мертвой зыби, тошнота. Двигаться не хотелось, и никакой другой мысли, кроме этой — о покое и неподвижности — не было. Затем, когда тошнота стала утихать, появилась досада — он пытался понять и объяснить себе, на кого и почему досада, но объяснение не получалось, потому что ощущение досады, едва застолбленное, тут же смещалось снова.

— Володя, — сказала она, — я хочу есть.

"Она хочет есть", — повторил он про себя, как будто переводил ее слова с чужого, нерусского языка. "Там", — кивнул он вправо.

В правом углу, под крышей, висела капроновая плетенка. Она сняла ее, вынула свертки, положила их на сиденье, но почти сразу перенесла на свои колени — поближе к нему.

— Будем есть? — спросила она.

— Давай, — сказал он спокойно, хотя теперь, кроме досады, была у него еще и злоба — на себя, на нее и вообще на весь мир, который сплошной бордель.

— На, — протянула она кусок батона с колбасой, — на, держи.

Он поднял руку, чтобы взять батон и колбасу, она чуть наклонилась к нему, разжимая пальцы, он смотрел на эти разжимающиеся пальцы и опять, как тогда, в первый раз, хлестнуло его горячим в зубы.

— Слушай, — крикнул он, задыхаясь, — слушай, ты...

— Нет, — твердила она, — нет, нет, нет!

— Нет? Нет? Нет? — повторял он, проталкивая слова через стиснутые зубы. — А я говорю, да! А я говорю, да!

Но это его "да" было ненастоящее, это "да" ему нужно было только для того, чтобы собрать свои мысли и найти для них слова, которые раздавят ее и превратят в ничто. И когда он уже нашел эти слова — про то, что ее бросили, а она, сопля, сразу полезла под колеса, да и то для смеха

только полезла, чтобы напугать себя и того, который поддал ей коленом, — руки ее вдруг сникли, вся она сникла и про-стонала:

— Ой, не надо... не надо.

Выпав из клемм, рычаг рубильника болтался беспомощно, бессильно, как сломанная птичья нога. Не стало ничего — только свет, черный, как черное сентябрьское небо, и тишина.

— Не надо, не надо, — повторяла она, подбирая с полу куски батона и колбасы.

Он сидел в углу, одна рука его, зацепившись кистью, лежала на баранке, другая, тяжелая, как обрубок свинцового кабеля, была прижата телом к стене.

— Видишь, — сказала она, сбрасывая батон и колбасу в плетенку, — совсем растоптали. Жалко.

— Есть водка, — сказал он.

Улыбаясь, она качала головой: нет, водки не надо — ты за рулем, ты же сам знаешь, что за рулем нельзя. Забившись в правый угол, она объяснила ему: так удобнее.

— Жалеешь? — спросил он равнодушно, как будто не о себе спросил. — Обидеть боишься?

— Нет, — сказала она испуганно. — Чего это жалеть тебя — ты калека, что ли.

"А вот, — думал он, рассматривая ее, забившуюся в угол, — я расскажу тебе сейчас, как ты переходила дорогу еще там, у гастронома, как бежала от троллейбусной остановки к мосту, как пустила вдребезги зеркало. Я видел, я все видел".

— Опять? — прошептала она. — Я пойду, я лучше пойду.

— Ладно, — сказал он. — Тебе куда? В город? На Товарную? Ладно, поехали, а то мамочка последние волосиськи уже повыдергивала из себя.

— Не мамочка, а комендантша, — возразила она очень серьезно, — я в общежитии живу.

Придерживая правой рукой баранку, левой он снял пиджак с вешалки:

— На, в боковом кармане "Селга". Найди "Маячок", лучше на средних.

— А это у тебя интересно получилось, — сказала она тихо.

— Что — это?

— Ну вот, как ты бензин среди ночи достал. Колонка же с семи.

— А-а, — рассмеялся он, — это я из комендантшинных воло-сисек надоил. Уяснила?

— Ага.

На Дальницкой, в том месте, где она упирается в Степовую, машину остановил инспектор.

— Так, — сказал он, — девочек катаешь? Дай сюда путе-вочку. Документы. Понятно. За правами придешь завтра. Ад-рес знаешь: улица Розы Люксембург, тридцать один.

**ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ
И РАССЫЛАЕТСЯ ПОДПИСЧИКАМ**

КОВЧЕГ №3

*Литературный журнал под редакцией Н. Бокова и А. Крона
Оформление О. Барышевой*

Львиную долю номера занимают главы из романа Эдуарда ЛИМОНОВА "Это я — Эдичка". В них рассказы-вается о судьбе эмигранта "третьей волны", о его попыт-ках вырваться из эмигрантского гетто, пробиться к почве новой страны — Америки. Судьба героя драматична: по-кинутый любимой женой, он утрачивает смысл существо-вания, однако продолжает бороться за "место под солн-цем". Роман написан с необыкновенной искренностью и смелостью.

Арвид КРОН в статье "Про бабочку поэтиного сердца" анализирует это произведение — лучшее, что написано писателями "третьей волны" о жизни в эмиграции. "Ков-чег" помещает также "Сказку про Васюку Немешаева, городского вора", — фольклор советского периода (пуб-ликация К. Кузьминского).

Цена номера 20 фр.фр.

Подписка на 4 номера 70 фр.фр.

В Израиле "Ковчег" представляет Irina Grobman- 28/7

Ephraim Str., Bak'a, Jerusalem. Tel. 712-493.

Всю корреспонденцию для редакции направлять по адресу: N. Bokov. Chateau du Moulin de Senlis 91230 Mont-geron, France.



А. СУКОНИК

ПИСЬМА ЛЕВЫ ГОРМАНА

Взываю к вам, дорогие мои одесситы (слово лирически настроенного автора). Ну-ка, кто помнит Леву Гормана, о, Лева Горман, твой образ (во плоти) только возникал на горизонте, вот этот твой сократовский лоб в сопряжении с лицом римлянина, промотавшего в карты империю, только стоило замаячить ему в отдалении, и в душе робкого юноши возникало движение наподобие нежнейшей щекотки, и юноша шел, летел навстречу, точнее перебежал улицу, рот расплывался в идиотской улыбке, бестактной и слюнявой, и не умел вымолвить ничего, кроме: "Дядя Лева, когда вы познакомите меня с проституткой?", — но тут-то и останавливалось мгновенье, упиралось в тупик, ничем не разрешалось. (Впрочем, тупиковое качество ситуации было всевечно, знать бы заранее, не ломиться бы всю жизнь, пробивая тупо лбом уводящие далеко, далеко, далеко в никуда сквозные ходы). Но юноша хотя бы прекрасно понимал неадекватность и беспомощность слов, что предназначались в эквивалент реву-блеянию, что стремилось вырвать-

ся из самого нутра, — а откуда бралось, не от той ли щекотки, — но как бы там ни было, вот стояли они друг против друга на перекрестке Греческой и Преображенской, из угловой шашлычной доносился едкий перегар бараньего жира, через улицу на Соборке толпились фанаты, цвели каштаны, безногий дядя Ваня из эйзенштейновской "лестницы" драил кому-то туфли у входа в кинотеатр Горького, и Лева Горман отступал на шаг, презрительно выпячивал толстую и широкую на пол-лица нижнюю губу, к которой навечно прилип кратчайший окурок, сощуривал глаза, изображая гримасу омерзения, и произносил: "Ах ты, грязный мальчишка! Мразь! Подонок! Ты смеешь со мной, пожилым и уважаемым родственником, так разговаривать?!", — и над ними светило южное солнце, и лицо Левы Гормана даже в попытке морального негодования не могло достаточно затвердеть, чтобы избавиться от лукавых извилин порока, и мимо шли девочки, стянутыми юбками на последний шикарный манер пятилетней московской давности, и заворачивал, громохая, трамвай №23, устремляясь в сторону Садовой, и... короче, уважаемый читатель, помните ли вы Леву Гормана? Помните, как каждый вечер он появлялся на Дерибасовской (не раньше одиннадцати) и шел, сопровождаемый одним-двумя компаниями, вниз от Преображенской к Екатерининской, направляясь к ресторану "Волна", а в "Волне" его кормили не как-нибудь, но в кредит — это-то вы помните? (Но не только, а может быть даже и вовсе не потому, что был подпольный махинатор, но скорей потому, что взял официантов измором скупоности: они знали, что все равно рука у него не поднимется вынуть так-таки сразу наличные — за наличные он питался в воюющих столовках или сторговывал у лотошниц со скидкой вчерашние пирожки).

Ну так что, читатель, помните Леву Гормана? А если нет, то, может быть, помните его компаньонов, ну взять хотя бы Вальку-красавчика, человека немыслимой даже для нашего города наружности и элегантности, как две капли воды похожего на английского премьера Мак Миллана?

Автор заявляет, что отлично помнит Вальку, поскольку замирал сердцем всякий раз, встречая Его Недосыгаемость на Дерibasовской. Трубка, рыжие усы, небрежно приподнятый ворот твидового пальто, поскольку (как понял позже) в Вальке осуществилась вечно будоражащая идея того, как далеко может продвинуться одесский хлыщ на пути превращения в английского лорда, а также поскольку — слушайте, слушайте! — между ними однажды осуществился почти личный контакт, да, да!

Однажды встречали Новый год тоскливые молодые люди и блеклые девицы с обжираловкой и невинными поцелуями, а где-то в соседней комнате той же коммунальной квартиры засел Валька-красавчик. Пришел мутный рассвет, поставив перед фактом огромного торта, заказанного, конечно же, заранее и, конечно же, по блату, и вот щенки сгрудились вокруг, но есть не могли: закон сохранения энергии не позволял (чтобы впихнуть в себя кусочек, нужно было сначала израсходовать энергии на такой же кусочек, а как же?). И тут дверь распахнулась, и в комнату шагнул пьяный Мак Миллан. Что поднялось в душах молодых людей и девиц! "Валя, входи!" — вскочил в подобострастном восторге хозяин, и кто-то услужливо подвинул стул, кто-то расчистил место на столе, кто-то рванулся наливать вина, и глаза всех — на Вале, на Валиных глазах — на упомянутом торте. Он сделал два-три шага по направлению к столу, наш одеревенелый лорд, и его мягко плывущий баритон перекрыл взапербойные предложения: "Ну, если не возражаете, ребята, то — кусок торта". И произошло чудо: Валька-Мак Миллан подхватил рукой неразрезанную половину торта, как есть, целиком забил себе в рот и, крутанув нижней челюстью, проглотил. Щенки замерли в молчании. Они замерли не потому (автор уверен в этом), что зажилились задним числом, но почувствовали бессознательно унижительную символичность происшедшего. Ладно, Валька был пьян и бесчувствен, как щек под зубным наркозом, и потому воспринимал все в искаженных пропорциях, однако же самый размер его опьянения давал реальное представление о том, в каких

пропорциях совершаются вещи там в их мире (который молодые люди фантазировали в основном), и на этом фоне их собственный мир начинал выглядеть уже нереальным, только в противоположном смысле: не заслуживающим даже названия реальности.

Вот каков был Валька-красавчик, спутник и прихлебатель при Лева Гормане и несомненный поставщик девочек, и если вы не помните его, не помните, как они слевой восседали за столиком в ресторане "Волна", Лева, пригнув голову к тарелке, с жадной поспешностью поглощая остатки шашлыка, вытирая хлебом подливку, Лева, выглядевший забредшим нищим, которому из жалости пожертвовали от чьего-то стола, и английский премьер, небрежно закинувший ногу на ногу, равнодушно рассматривающий местную публику, да, если вы не удержали картину в памяти, то мне трудно что-либо сказать, кроме того: может быть, вы в таком случае хоть ресторан "Волну" помните? Потом его переименовали, но чего только не переименовывала в нашем городе лихорадочно советская власть, пытаясь сломить дух столь чуждого ей города (и хотя и не сломила, но достигла цели иначе, превратила в калеку и карикатуру, о, это ей всегда удавалось с городами, странами, нациями, душами, впрочем, меня занесло в сторону), так вот, спрашиваю: хоть ресторан "Волну" вы помните, что находился на углу Ласточкина и Екатерининской, и доносился оттуда по вечерам то скачущий, то рыдающий звук "джаз-оркестра", состоящего из рояля, скрипки, аккордеона и ударных, и однажды встал скрипач, меланхолично взгромоздился перед микрофоном, совсем уж прикрыл базедовые свои веки, которые и так с трудом открывались, и брови пошли вверх в немом вопросе, и сыграл вдруг арию "Смейся, паяц!", повторив для убедительности два раза, в то время как ничему не удивлявшиеся официанты в грязных куртках разносили заказанные блюда, а проходившая мимо ресторана группка местных интеллигентов встала, прислушалась с перемигиваниями, прикладыванием пальцев к губам: "слушайте, слушайте!", с преувеличенными гримасами, хватаниями за бока, приседаниями в изображении

корчей немного смеха, разведением руками, вот, мол, да, такое и не придумашь, — и пошли дальше, презрительно ироничные, — уж "Волна" не была их местом, туда бы их силком не затащить.

Ну да, да, кстати, — а интеллигентов наших помните? Давайте понаблюдаем: вот они идут воробыно нахохлив плечи, засунув руки в карманы, перебрасываясь словцом-другим на масонском своем наречии, на углу Дерibasовской сворачивают вниз — а, конечно, конечно как я раньше не догадался: некуда им больше идти, как в кафе "Экспрессо"! Помнит ли читатель "Экспрессо" или не помнит, но автор собирается посвятить этому месту несколько слов, поскольку тут опять столкновение духа южной теплоты с насаждаемым из Москвы безликим модерном. Комсомольским модерном чуть было не сказал автор и недоуменно сморщился: откуда такой термин в голову? По неясной ассоциации то ли со стилем "Комсомольской правды", то ли с названиями, запестревшими в памяти: "Молодежное", "Эврика", "Юность", — эдакими бодрими, полными упругого намека на взгляд вперед названиями, или по несколько более глубокой ассоциации с ощущением, испытываемым внутри упомянутых кафе ли, клубов ли, ресторанов ли, и не обязательно зашарканных и заплеванных, но как будто обреченных на бесстарение, поскольку так и не приобрели взрослых определенности и уюта. Однако наших интеллигентов это устраивает, черт возьми! Вот уж что им, бедным, ненавистно и чуждо, так это провинциальный уют города, в котором им не повезло родиться (в Москву! в Москву!). И потому они чувствуют себя в своей тарелке здесь, в "Экспрессо", где даже и стульев нет, а стоя за круглыми столиками из шероховатой крошки известняка, имитирующего мрамор, пьют бурду, имитирующую кофе из венгерских (имитирующих заграничные) аппаратов, — чувствуете? уже цельность (опять-таки в переносном, имитирующем, смысле) подделки на символическом уровне, и ты бессознательно ощущаешь себя участником не жизни, но действия, имитирующего жизнь (в искусство! в искусство!), поскольку Москва ведь уже тоже давно не существует, как

стоцентная реальность, но хмырски внедряя тот самый модерн, преподносит себя, как недостроенные декорации к фильму из иностранной жизни (все что угодно, лишь бы закончить дешевкой и увести от настоящего), — и... и, согласитесь, какая сладость быть интеллигентом в наших условиях!

Однако, если кто думает, что автор решил от лиризма перейти к иронии, он ошибается. Взгляд на интеллигентов нужен был ему для того, чтобы показать, какая пропасть существовала между ними и завсегдатаями ресторана "Волна", толстомордыми артельщиками, в сшитых на заказ костюмах с выработанной грудью, их размалеванными, щеголяющими тяжелыми телесами женами, заведующими комиссионными магазинами, мясниками с Привоза и прочим людом, что жадно желал удовольствий от жизни и потому отплясывал в "Волне" смесь гопака с фрейлехсом. Не говоря уже о Левае Гормане. Ну да, что касается Левае Гормана, то тут просто говорить не о чем. Представим себе: встретились Лева Горман и наши интеллигенты, прошли мимо друг друга и... и что же? Вот именно, и ничего, быть может, и не заметили друг друга. Нет, но вы способны оценить сполна такой факт? Черт возьми, но в Одессе всякий уважающий себя человек не только замечает того, кто идет ему навстречу (и немедленно прикидывает, угадывает, вычисляет), но еще для верности оборачивается и провожает взглядом, насколько позволяет гибкость шейных позвонков, а тут такое! Нет, но со стороны интеллигентов это понятно, настолько они и не жильцы здесь, но то, что Лева Горман не желает замечать их, проходит, как мимо пустого места, о, тут... Тут автор глядит с негодованием и жалостью на интеллигентов, поднимает указательный палец в многозначительном предупреждении, мол, понимаете, что это значит! — и ему тем легче это сделать, тем отчаянней его возмущение, что он знает, что идет вместе с ними, увы, да, да, всегда вместе с ними и только мимолетом навстречу Левае, но это бы еще ничего, если бы мог, как сопутчики, пройти спокойно мимо, удовлетворяясь щебетом о Пикассо или Поллаке, но ведь не может, не может

автор утвердился в собственных границах, и в сорок лет, как и в двадцать, ловит себя на той же нелепой улыбке и том же щекочуще-беспокойном чувстве, будто сейчас подбежит к Леве и скажет: "Когда же, наконец, вы познакомите меня с проституткой?"

Вот такие дела, уважаемый читатель. Вы, конечно, понимаете, что последняя фраза ("Когда же, наконец"... и т.д.) вовсе не выражает буквальных желаний некоего индивидуума, но куда скорей применена, как литературный прием. Если и в двадцать лет ты подозреваешь, что, к сожалению, не все так определено и однозначно, то в сорок и вовсе машешь рукой на слова. "Когда же, наконец, в Москву, в Москву!", "Когда же, наконец, в искусство, в искусство!", "Когда же, наконец, в обладатели миллиона!", "Когда же, наконец, во владельцы игорного дома и кафе-шантана!" (неоднократно выраженное вслух несбыточное желание Левы Гормана) — и, убирая материальный фон, выстраивая слова в чистый математический ряд, пуская их нестись в пустоту космоса под электронную музыку (ни дать ни взять, титры к научно-фантастическому фильму), ты начинаешь с облегченным смехом жонглировать ими, и вдруг оголяется, проступает, материализуется та же самая, первозданная, как звериный рев, сила, что щекотала и подталкивала, манила и истязала, обнадеживала и обессиливала.

"В иной мир! В иной мир!" — взрывается ты вдруг (хотя и не совсем так уж вдруг), расталкивая столики "под мрамор", опрокидывая кофе, пиная устоявшиеся вокруг ненавистные понятия, навязанные привычки, рабские взгляды, заодно отменяя в стороны притеревшиеся судьбы и привязанности, но не потому, что лес рубят — щепки летят, а, напротив, наслаждаясь решительной крайностью отождествления леса и щепок и неба над и земли под и воздуха вокруг, прозревая цельность того, что претендовало на разобщенность, невеликость того, что претендовало на вселенскую бесконечность, и вот в какой-то момент, подхваченный, взвихренный джином бойцовского усилия, переносишься-таки в "туда, туда!" и обнаруживаешь себя где-нибудь на берегу Средизем-

ного ли моря, Атлантического, а то и Тихого океана, и оглядываешься, озираешься, и тут уж действительно останавливается мгновенье, чтобы дать дух перевести, зажмуриться и снова открыть глаза, а затем напряженно застыть, прислушиваясь: что-то теперь судьба тебе готовит...

Ну что ж, то, что судьба готовит, трудно вот так взять и описать. Хотя автор, хе-хе, кое-что припас в кармане, то бишь, в портфеле, как любят говорить солидные люди. Карман все-таки больше к месту поскольку речь идет о нескольких всего только письмах Левы Гормана к нью-йоркскому родственнику (конечно же, и Леву подхватил смерч судьбы и прямо в десятку угодил, в пуп земли — государство Израиль, город Тель-Авив). Опять же карман куда сподручней портфеля, если тебе эти письма нужно у упомянутого родственника у в е с т и, а портфель потом сгодится, и не столько, чтобы письма в нем носить, но вышагивая по сумасшедшим улицам Нью-Йорка-города, разглядывая всевозможные витрины, рекламы, объявления, зазывы, ну-ка встретишь земляка-эмигранта невзначай (чего только не случается в этом городе), а тот спросит: "Небось, несешь в портфеле плоды многодневных трудов, плод, так сказать, мастерства? — каков эффект, черт побери. Сразу к самому себе уважения прибавится, и подтянешь купленные по дешевке у "Роббинса" джинсы, и оглянешься с некоторым презрением на окружающие небоскребы, за непроницаемыми стеклами которых укрылись разные там туземные пенклубы, издательства и редакции, и отнесешься к ним с должным презрением, у вас тиражи, господа, а у нас — идеи, у вас долларами шуршит, а у нас — фантазия работает. Немедленно обернешься к земляку и бросишь небрежно: "Да, много работаю последнее время. Недавно, вот, звонили из Голливуда, сказали, что мой сценарий им нравится, но хорошо бы смягчить конец, мол, звучит слишком антисоветски, ха-ха, падлы, разумеется, отказался. Дешевки вонючие с их детантом!.." и так далее и тому подобное, и как-то забудешь приятным образом, что не только никто не помышлял даже звонить тебе из Голливуда, но и в портфеле ничего нет, кроме чужих писем, которые ты мечтаешь тиснуть в эмигран-

тской прессе (которую ты, разумеется, презираешь). И идешь себе дальше, размахивая портфельчиком чехословацкого производства, привезенным еще из дому (черта с два, купить такой). Идешь, лелея себя в собственном воображении автором, и даже в голову тебе не приходит, что кто-нибудь может обидеться, воспринять тебя, как намеренную насмешку или даже гротеск. За неприятное, иными словами, обобщение, попытку смешать с грязью гордое слово "автор": "Это что же, дорогой друг, вы на что своим "автором" намекаете? Тень хотите бросить, доблестную творческую интеллигенцию нашу запятнать?"

Тут-то и пронизывает тебя внезапный страх, портфель, что только что воздушно летал, идет каменным грузом вниз, и ты спрашиваешь себя: "Ай, ай, ай, это если на, то бишь за невинного "автора", так могут налететь, то как тогда посмотрят на письма Левы? Да ведь чего доброго примут еще за преподносимый между строк символ всей эмиграции?! Ха-ха, — Лева Горман и эмиграция, ничего себе! Люди добрые, вы в своем уме: подонки и шулеры, даже среди человеческого подполья считающийся уникалом (всей Одессе было известно, что мать родную голодом уморил, вопя, что хотят его обокрасть и раздеть), этот шарж на человеческое существо, а главное, этот авантюрист, то бишь нечто принципиально несерьезное, — и наш Исход, пусть мне простят столь высокое слово? Подумайте сами, какая нелепость!

Если хотите знать, намерения автора совершенно и как раз противоположны: он выносит письма Левы на общественный суд, чтобы показать, как порок несет заслуженное наказание и истина торжествует. Сказать по секрету, автор вообще не понимает, почему таким людям, как Горман, разрешают эмигрировать и загрязнять самый воздух свободного мира! Излишки свободы, теневые стороны западной демократии, да, да. Автор совершенно согласен в этом с соседом по дому, который при встрече начинает разговор неизменной фразой: "Да-а, плохо показали себя наши эмигранты!", за чем следует тяжелый вздох и кислая гримаса отрицания. Автор поспешно и утвердительно кивает, дабы не отстать, дабы сосед не поду-

мал бы, что он считает иначе, или, еще хуже, вообще не имеет четкой точки зрения. Каково же будет вообще его положение как автора, изъясняющегося на русском языке, если он не сможет провести границу между черным и белым, поставить точки над *i*, указать, где добро и где зло, осудить и вознести на пьедестал? Впрочем, пора вернуться к изложению самих писем.

Письмо первое.

Здравствуй, мой дорогой Даниил!

Настоящим сообщая тебе, что нахожусь в благословенном государстве Израиль, куда прибыл 2 ноября сего года. Наконец, удалось вздохнуть свежего воздуха свободного мира! Куда я всегда стремился, но несчастливые обстоятельства не позволили вырваться. Что тебе сказать? Я еще раз убеждаюсь, что у Левы Гормана есть голова на плечах, и теперь все приходят к мысли, которую я знал очень давно: что коммунисты — это наглые бандиты, которые ни во что не ставят человеческую личность. Я, лично, их всегда не любил за наглую самоуверенность. Если кто-нибудь узколобий назовет меня "спекулянт" или другим словом из "их" терминологии, то только выставит себя смешным и жалким. Я всегда боролся с жестоким режимом и не шел на компромисс: два раза меня брали по золотухе, но не сумели выжать ни копейки! На каком основании они имели право указывать мне, что я должен делать? С гордостью могу сообщить, что не проработал добровольно на них ни одного дня, много ты найдешь людей, которые могут похвастать тем же?

Теперь все хотят оставить их "рай", ничего хорошего там не ожидает человека, одно прозябание на основе тупой покорности. К сожалению, я предпочел бы, чтобы все это случилось тридцать-сорок лет тому назад, когда я был полон сил и здоровья, но что можно сделать, лучше позже, чем никогда. В последние годы перед отъездом меня ограбили и посадили ни за что ни про что, о чем ты, вероятно, слышал. Тут приложили руку мои дорогие родственники, которым я желаю, чтобы из их дома вынесли три черных гроба — Ольки, Маньки

и Саула, да-да, я знаю, что говорю. Эти людишки называли меня "эгоистом", "позором семьи" и прочими словами, но за этим крылся их подлый страх перед властями и невероятная глупость. Когда я уезжал, моя дорогая сестра Оля высокопарно заявляла, что она никогда не предаст "дорогую родину", и начинала цитировать стихи Пушкина и превозносить русский балет, как тебе это нравится?

Между прочим, во всем мире уже давно смеются над русским балетом, считают его устаревшим, о чем мне говорили действительно понимающие люди, не то что карикатурные знакомые моей сестры и племянницы. А что касается "эгоиста", то им всегда было непонятно, почему я живу своим собственным умом, а не следую тому, как другие хотят, чтобы я жил. Когда пришел решительный час, они отдали все, что я дал им на сохранение, что было нажито тяжелым трудом и риском в течение многих лет, и еще подписали, что отдают "добровольно" приобретенное "нетрудовым способом"! Ну хорошо, Олька всегда жила в мире фантазий, но аферист Саул, с его венскими усиками и дипломом из прошлого века, хорошо понимает, что к чему, и ненавидит меня за то, что я смеюсь над его жульническими трюками лечить молдавскую простоту от импотенции какими-то допотопными электрическими приборами. Ха-ха, это он, приличный человек, а я "подонок"? Ну ладно, не хочу даже унижать себя больше затрагиванием этой темы. Равно, как не хочу, чтобы и ты косвенно касался этой грязи, и потому, мой дорогой Даниил, перейду к делу.

Перед отъездом ко мне обратилась твоя сестра Каролиночка и предложила комбинацию. Так как скоро должны уезжать дети, то им понадобятся на дорогу деньги в размере 2500 рублей. Таким образом, я должен был дать эти деньги с тем, чтобы ты после выслал мне доллары. Каролиночка предложила за каждые 5 рублей один твой доллар, что было, конечно, очень дорого. В Одессе на черной бирже за доллар можно получить не больше, чем 3 руб. 50 коп., а государственная цена, ты, конечно, знаешь, 72 коп. Но не думаю о государственной цене, это было бы смешно. И так мы согласи-

лись, что по приезде сюда я должен получить от тебя 500 долларов. Но, приехав, я узнал, что доллар стоит 4 израильские лиры и 20 агорот! Ты представляешь, сколько я должен потерять на этой сделке, ибо израильская лира равняется советским 30 копейкам? В настоящее время я больной и нищий и не знаю, что делать, и поэтому решил посоветоваться с тобой. Поскольку я уже дал Каролине деньги, могу считать доллар за 4 рубля и ни копейки больше, потому что даже так теряю 40%, надеюсь, ты, как коммерсант, понимаешь мой расчет. Напиши обо всем обстоятельно и подробно, а если, паче чаяния, не согласен, я дам знать Каролине, чтобы она отдала деньги доверенному лицу, которое будет высылать мне маленькие посылочки, которые будут мне очень выгодны.

Будь здоров и счастлив, посылаю на обороте мой адрес.
Твой Лева.

P.S. Будь добр сообщить мой адрес старому другу Фреду Шафрану, который несомненно будет рад услышать обо мне. Также при случае дай знать в Аргентину Исааку, которого адрес, к великому сожалению, не имею. Упомяни, что я всегда гордился моим родным братом, который уехал ни с чем, но стал богатым человеком, и всегда считал, что он не похож на остальную часть нашей больной семейки. Еще раз твой Лева.

Письмо второе.

Мой дорогой Даниил!

Твое письмо получил, которое меня обрадовало, но в то же самое время огорчило. Я имею в виду твое настоящее положение. Ведь ты уже человек пожилой, и пребывать в таком состоянии крайне неприятно, тем более, что ты привык жить хорошо. Но крепись, Бог смилуется, биржа опять войдет в норму и ты стабилизируешься.

Мой дорогой, ты мне советуешь не подымать вопроса о деньгах, которые я дал Каролиночке, так я тебя послушаю и не стану. Хотя твои страхи в отношении писания т у д а

подобных вещей преувеличены, я рад, что мы нашли общий язык. Я, конечно, не стал бы касаться этого вопроса, если бы был прежний Лева, но сейчас я больше, чем нищий, и к тому же очень больной. В преклонном возрасте меня без всякого закона судили и ограбили на 9800 рублей, два золотых портсигара, один весил 169 граммов, второй — 138 граммов, два браслета — 83 грамма, золотые часы, бриллиантовые серьги, каждая по пол карата, и два бриллиантовых кольца, а самое главное, что меня ограбили, это было пара серег по три с половиной карата каждая серьга. Изумительной красоты, чистые, как слеза, редкий цвет "Розе". Я в 58 году дал за них 350 тысяч рублей старыми деньгами и купил их баснословно дешево. В 67 году мне давали новыми деньгами 60 тысяч рублей. Но все это уже пропало, обратно не вернешь. Нужно забыть. Сфабриковали дело о "содержании притона", а что это было на самом деле, если не какая-то грязная, уличная девка стакнулась с милиционером, чтобы забрать у меня комнату? Фарс, именуемый советским судом, разумеется, был на их стороне, поскольку она деревенская проститутка и говорит с тем же украинским "г", что и Брежнев, а я кто же такой, как не посторонний и враждебный элемент? Ты, дорогой мой, должен знать мою воздержанность в отношении женщин и всего остального, и если бы ты слышал, что они говорили на суде, у тебя волосы встали бы дыбом и ты бы рассмеялся и плюнул им в рожу, уверяю тебя.

Между тем, приехав сюда и увидев, что здесь творится с ценами, я ужаснулся. Пара обуви на резине, которые стоят в Одессе 12 рублей, здесь — 80 лир. Такой обед, который в Одессе в "диетке" стоил мне 40 копеек, здесь обходится в 5 лир 50 агорот, на завтрак и ужин обхожусь сладким чаем. Белье я сам себе стираю. За ночлег плачу в трущобе 10 лир, причем хозяин требует за месяц вперед. Когда Каролина предложила упомянутую комбинацию, у меня не было другого выхода, ибо вывезти деньги нет возможности, и я вынужден был пойти на кабальную сделку.

Доллары пока не высылай, я дам тебе знать, так как

они выдают получателю вместо долларов лиры. Сообщил ли ты обо мне Фреду Шафрану? Между прочим, если у него есть какие-нибудь ношенные вещи, как то: костюм, брюки, обувь, рубахи, майки, трусы, носки, пусть отправит мне посылку, за старые вещи здесь пошлину не платят. Кстати, ни в коем случае не упоминай в письмах к Исааку, что должен мне 600 долларов: разве ты не знаешь его скупость и холодную душу.

Остаюсь твой Лева.

Письмо третье.

Дорогой Даниил!

Вчера получил твое письмо от 28 января, затем через несколько дней мною было получено также от тебя письмо от 21-го января, которые заставили меня немало волноваться и нервничать. Ты соизволишь писать, что решил выслать мне деньги официально, поскольку боишься заниматься "сомнительными операциями". Интересно знать, в чем тут сомнительная операция, если я хочу получить кровно причитающееся мне? Знаешь ли ты, что все переводы с Америки выплачиваются лирами, то есть 4 л. 20 за один дол., в то время как на бирже курс 5.30? Это сделает разницу в 700 л., что усугубит мое и без того катастрофическое положение. С какой стати я должен терять на твоей фальшивой честности? Нищенской пенсии, которую они бросают, как собаке кость, не хватает даже на жалкое существование. Я очень и очень болен, чтобы пойти к приличному врачу, нужно 30 лир, здесь жизнь тяжелая, тебя берут за горло. За все это время я не смог заработать ни копейки. Так ты тоже хочешь взять меня за горло? Скоро отсюда должен поехать знакомый в Нью-Йорк, я дам ему письмо. Ты передашь с ним деньги, постарайся дать сотнями, крупные купюры стоят дороже. За все остальное я отвечаю сам, Лева Горман еще никого не подводил. Что касается, что Каролина во время твоего визита в Одессу, вероятно, сообщила, будто у них из-за меня делали обыск и перекопали с "миноискателем" дачу (ха-ха! смеюсь над невежеством!), то она делает из мухи слона, и вообще,

разве я отвечаю за органы? Что я могу сделать, если они знали, что она моя двоюродная сестра? Что касается денег, которые дал ей, то это последние крохи мои, каждый рубль обошелся кровью. Уведомляю, эти мои 2460 руб. намного дороже твоих 600 дол., знаешь ли ты, что такое заработать на камнях при Советской власти? Мир еще должен был бы поставить памятник Леве Горману за его находчивость и изобретательность, а вместо этого я покинут и предоставлен жестокой судьбе. Я очень и очень разочарован. Недавно я встретил знакомого юриста, он добился разрешения вернуться в Советский Союз и дал мне заявление, которое называется "повинная": "Я, бывший гражданин Советского Союза, приношу свое раскаяние в совершенном проступке, но я был обманут лживой сионистской пропагандой и совершил необдуманый поступок, за что жестоко поплатился, нахожусь в состоянии бездомного, без средств к существованию, к тому же болен, прошу дать вернуться на родину, где постараюсь искупить свою вину". Они разрешают некоторым лицам вернуться без предоставления жилплощади, можно жить у своих родственников. Если я решусь подать "повинную", то тогда мне не нужны твои доллары, а я по возвращении получу все у Каролины, о чем предварительно ей сообщу.

Твой Лева.

P.S. Воображаю, какую рвань дал тебе Фред Шафран, а ты еще собираешься отдавать эти вещи в чистку! От "аргентинца" я ничего не имел, как, впрочем, и ожидал, зная его меркантильную душонку.

Письмо четвертое

Даниил!

Настоящим уведомляю, что твои жалкие доллары получил. Что касается посылки, которую ты выслал, то "овчинка выделки не стоит", когда она придет и ее вскрыют, я посмотрю, стоит ли признавать, в противном случае она пойдет обратно. Что касается Фреда Ш., то уполномачиваю тебя при первой же встрече плюнуть в его блядскую рожу.

Даниил, позволь мне ответить на твои "философствования". Ты всегда был недалеким, и таким тебя знают в Одессе. Ты намекаешь, что я тебя шантажировал с этими деньгами, то есть считаешь меня за жулика? Я не фраер, меня такими разговорами не проймешь. Что значит "порядочные люди"? Слышал поговорку, весь мир — бардак, все люди — бляди? Что касается меня, то я давно знаю людям цену, и потому никому не давал обвести себя вокруг пальца, в том числе и тебе. Лева Горман никому не должен, но все должны Леве Горману. Я всегда смеялся над твоим заверением, будто ты стал состоятельным человеком благодаря честности и прозорливости, и как ты произносил речи в каких-то своих "обществах" и "клубах" и как много жертвовал на Израиль. Тебе повезло с компаньоном и обстоятельствами, вот и все, а потом, когда нужно было раскинуть головой, то ты потерял капитал на бирже. Если Лева Горман крал границу в твоём возрасте, он уже был бы знаменитым человеком, и такие шмендрики, как ты, чистили бы ему ботинки.

Чтобы доказать, как умеет себя держать и поставить Лева Горман даже будучи в теперешнем моем состоянии, опишу тебе маленькую сценку. Ты наверное заметил, что мой адрес на конверте изменился. Этому предшествовали следующие обстоятельства. Некоторое время назад я пришел в гостиницу, вошел в свой номер, в котором жил с одним знакомым одесситом, и увидел, что на моей койке лежит незнакомый человек. Я спросил, кто вам разрешил лечь в чужую постель, он мне ответил, что хозяин сдал ему мою кровать, ибо я уже здесь больше не проживаю. На вопрос, где мои вещи, он ответил, что выставил их в коридор. В полном недоумении я вышел в коридор и увидел, мой чемодан стоит возле стенки, подушка, простыня, одеяло и еще некоторые вещи разбросаны по грязному полу, и проходящая публика топчет их ногами. Я стал расспрашивать, но никто толком не мог ответить. Я поднялся на третий этаж и увидел хозяина и попросил объяснить, чем это все вызвано. Он мне заявил, ваш месяц вчера окончился и вы должны были уплатить вперед за месяц 300 лир, и так как вы не уплатили, и Сохнут за вас тоже не пла-

тит, я сдал вашу койку. Я спокойно ответил, вы обязаны были меня предупредить, я ведь человек, а не собака. Я тебя предупреждал, буду я с каждым русским объясняться, слишком много чести, таков был его ответ. Хорошо, — сказал я спокойно, — это дело вашей совести, но что вы имели к моим вещам, что расшвыряли их, как мусор. Ты можешь писать жалобу своему Брежневу, в этот момент, я не помню, что со мной произошло. Я только помню, что, когда его от меня оторвали, в руках у меня были половина бороды и пейсов этого религиозного жида. Как раз в этот момент пришел мой напарник по комнате, узнал, в чем дело, и ужасно возмутился и сказал, раз этот подонок с тобой так поступил, я тебе открою секрет. Знай, что он у тебя брал 10 лир в сутки, а у меня и всех остальных получает 8 лир. Только он просил тебе не говорить, так же остальные жильцы подтвердили, таким образом за четыре месяца он вымотал у меня 240 лир, по 60 лир в каждый месяц, у меня волосы на голове дыбом встали от возмущения и ужаса перед таким грабежом. Когда он немного успокоился, я вошел к нему в контору и потребовал мои деньги немедленно назад, сказав, как он может, такой богатый человек, владеет двумя гостиницами и большим домом, а я нищий приезжий. Он поднял крик, никаких денег я вам не дам, в конторе стоял новый телевизор, я со всех сил стал бить кулаком по крышке. Он испугался и позвонил в полицию. В один миг, надо им отдать должное, приехала полиция. Я резонно и подробно рассказал, в чем дело, прося защитить от очевидного грабежа. На что они сказали, что в эти дела не вмешиваются, чтобы я подал в суд, а если я разобью телевизор, то чтобы он на меня подал в суд. Таким образом я увидел, что и полиция бездейственна и решил самому действовать. Я взял телевизор на плечо и направился к выходу. Тогда он побежал за мной и не дал выйти, на что я заявил, что если он не отойдет немедленно от двери, я брошу телевизор на пол и он вдребезги разобьется. Тут он вынужден был капитулировать, дал мне 120 лир, и на остальные 120 лир дал расписку, теперь, как ты пишешь, что с письмами неувязка, то я его предупредил, что если хоть одно

письмо на адрес его гостиницы пропадет, я вырву остаток пейсов и бороды, он еще не знает Леву Гормана.

Но это было еще начало моих бедствований, которые теперь не знаю, когда кончатся. Вообще-то мой жилищный вопрос должен решать Сохнут, но пойдти до них доберись. Почти неделю я обивал пороги домов, но никто не хотел мне сдать угол. Днем я сидел в саду возле моря, а на ночь шел на "Тахану мерказит", это автобусная станция, где просиживал до утра не спавши. Уборщица с "Таханы" порекомендовала по улице Дизенгоф один старый дом, хозяин которого сдает койки на ночлег. Действительно, там оказалась одна свободная койка в комнате, где стоят четыре койки. Вот там я живу уже несколько месяцев по 3 лиры за одну ночь. Правда, очень грязно, пол цементный, дом очень ветхий и всю ночь бегают крысы, от них нет покоя. В настоящий момент я сижу на скамейке напротив моря, благо, погода позволяет, и размышляю, почему и за что судьба столь жестока ко мне. Даня, а помнишь, как мы играли в бую в подвале у Зубника? Я бы уехал отсюда, но не знаю, куда!

СУДЬБА ПОЭТА

"И вот я умираю. Для семьи. Для близких..." — писал я, покидая Россию. Покинув — умер, и родился заново. Родные и друзья остались там — в ином измерении, в прошлой жизни. Рассчитывать на их воскрешение не приходилось.

Яков Зугман был одним из немногих, кто продолжал оставаться для меня живым. Я был уверен, что раньше или позже он все-таки решится на выезд. Хорошая половина его друзей выехала из России и "забрасывала" его вызовами. Не раз он уже, казалось, окончательно решал подавать, однако — друзья один за другим уезжали, а он — оставался.

Осенью семьдесят седьмого случился у него сердечный приступ — и поэт остался в России навсегда.

Яков Зугман почти не известен русскому читателю. Советские журналы его не публиковали. Самиздату его стихи, лишённые политической остроты, не были интересны. Четверть века Яков Зугман писал в стол. Только теперь, после смерти поэта, стихи его выходят в мир. Удивляться этому не приходится: ненормальность судьбы писателя в советской России давно стала нормой.

Борис КАМЯНОВ



Яков ЗУГМАН

ДЕЗЕРТИРУЮ ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ.

* * *

Я заперт в мысли, как в пустой молельне,
Со всех сторон охваченной огнем:
Ведь даже то, что в мире параллельно,
Когда-нибудь пересечется в нем!

И мой удел действительно ужасен —
Что, поклоняясь Разуму и Дню,
Ни с кем я в этом мире не согласен
И никуда весов не наклоню.

Но тяжёк пест, и беспощадна ступка,
И зернышку не деться никуда.
И жить мне в ожидании Поступка —
Как в ожиданье Страшного суда.

* * *

Метель промеж нас просвистела
И в темную даль унеслась...
Какая смешная система,
Какая неловкая связь!

И даже Всевышний задохся,
Едва ли успевший понять,
Что этот момент парадокса
У наших судеб не отнять.

Что вспять не раскрутятся вихри,
Схлестнувшиеся в один.
Прилипли, припали, привыкли,
Забыли, кто вместе сводил.

И то, слава Богу, спасибо
За этот неловкий полет.
За ту центробежную силу,
Что наземь упасть не дает.

ТРИ НОКТЮРНА

1

Звенит комар, как микровентилятор...
Иль это — звон бессонницы во мне?
Два тополя, как малые телята,
Ушами тихо хлопают в окне.

Как хорошо не спать! Дышу я ровно,
И чувствую: все связано в одно —
Мое веселье, и мое здоровье,
И эта ночь, глядящая в окно.

Комар не тронул. Значит, неудобно.
Я усмехаюсь: мол, не бойся, жаль!
А жизни до того во мне удобно —
Не то, что встать, пошевелиться жаль...

2

Земли круговращение хмельное
Рождает ветерок в исходе дня.
Как будто счастье — и ничто иное —
Само наощупь трогает меня.

Какая ночь! Какой спокойный гений
Все лунным светом залил до основ!
Сдвигаются засовы измерений
И тайный смысл рождается меж слов.

А звуки все нежнее, все короче,
И свет стекает с милого лица,
Лица Луны... И нет у этой ночи,
Как у любви, — ни меры, ни конца...

3

Трещит за печкою сверчок,
Как будто водит по расческе.
В окно мне виден месяц плоский —
Все кратеры наперечет.

Сверчиной песенки родник
Сочится из угла глухого,
Как робкий шепот домового.
Не сплю: вдруг выглянет старик!

Луна. Казалось бы, а нам-то
Какое дело до Луны?
На фото — трое космонавтов
Глядят, как боги, со стены.

Чего там ночь не натворит!
 Еще немного — и покаюсь,
 Что атеизм во мне, как аист, —
 Лишь на одной ноге стоит.

МЕРТВАЯ ТОЧКА

1

Мой бег был и слаб, и неровен.
 И вот я лежу на снегу.
 Настолько пред жизнью виновен,
 Что даже встать не могу.

— Возьмите меня на поруки,
 Не киньте средь злобы и лжи! —
 Но голос, исполненный муки,
 Мне сверху ответил:
 — Лежи!

Отвергнуты плач и прошения,
 Безмолвна небесная твердь.
 И нет мне на свете прощенья,
 Хотя бы такого, как смерть.

А поле безлюдно и немо,
 Былинки закованы в лед.
 И только бескрайнее небо
 Глаза мне закрыть не дает.

2

Я отстал. Я отстал понемногу
 От ровесников жизни моей.
 Я служу инфантильному Богу
 Беззаботных, беспамятных дней.

Дайте мне отдохнуть, отоспаться —
 И поверите в юность мою.
 Отстаю от себя лет на двадцать.
 А во имя чего отстаю?

Неужели наивная муза.
 Отрывая от старых друзей,
 В самом деле избавит от груза
 Нарастающих ворохом дней?

...Мчится горный поток по ущелью.
 Всех уносит. Лишь я до седин
 Деzerтирую против течения
 И спасаюсь из боя один.

3

А бедняку и отпуск ни к чему:
 Ведь отдыха он так и не узнает.
 Долги, печаль и прочую чуму
 Никто с него на время не снимает.

Заботами отравленный досуг
 (Когда-то вновь дотянешь до зарплаты!)
 Нет, лучше так, не покладая рук.
 Без праздников, покуда не крылаты.

Сомнения работою развеи!
 Какой там отдых? Суета да споры.
 А бедняку не надобно друзей.
 Ему полезны только кредиторы.

* * *

1

Так и умру любовником твоим,
 Не подчинясь ни годам, ни законам,

Несытый всем, что близко и знакомо,
И вечно гордый тем, что мы творим.

Пусть каждый, как пчела, себе берет
Частицу счастья из души другого.
Чем чаще брать, тем больше будет снова,
И пусть он не иссякнет, этот мед.

Как сладок воздух комнаты моей
От твоего влюбленного дыхания!
Ты так вошла, что даже не слышал я, —
Как тихая луна среди ветвей...

Дай мне обвить руками и стихами
Святое древо талии твоей.

2

Святое древо талии твоей!
К тебе я всеми силами причален.
Я вырос рядом. Кончен счет печалям.
Меня ветвями тонкими обвей!

Дрожит росинка, падая с листа.
Во влажной глубине сомкнулись корни.
И свет над головой. И, словно в горне,
Исходит жаром счастья высота.

Вот вытянулись мы, подобно соснам,
И смолкли птицы в кроне у меня,
И тени, как сомнения, гоня
В блаженном всхлипе, с отзвуком бесовским

Судьба восходит милосердным солнцем —
Комком животворящего огня.

3

Комком животворящего огня
Я стал, когда, избрав меня меж всеми,
Ты приняла мое живое семя
И вывела в бессмертие меня.

* * *

Скрипят по-журавлиному качели.
Чужой отец раскачивает сына.
Глядит куда-то отрешенным взглядом.
Я знаю, что подумалось ему.
Сухой листвы неспешное кочевье
Остановила тягостная сила.
Один листок остановился рядом,
И я его неслышно подниму.

Пойти их смазать, что ли, в самом деле,
А то скрипит железо по железу.
А городские птицы на панели
Похожи на пожухлую листву.
Что из того, что годы пролетели?
Мне уповать на возраст бесполезно.
Курлычут журавлиные качели,
А небеса пустынно наяву.

Раиса ИДЕЛЬСОН

ВОЛНЫ ЭФИРА

Р.Р. Фальку

Портреты, рожденные светом, во мгле
Рождают любовь и тревогу.
Они как молитвы звучат на земле
В неведомом скрытому Богу.

И каждый отдельно навеки один
В оковах из формы и цвета
Своей неповторной судьбы властелин
В неведомом ищет ответа.

А волны эфира струятся кругом,
Исполнены силою света,
Струятся, искрятся, встречаясь потом
Рождают упругость предмета.

В бою, как оружие, сжимаешь ты кисть,
Соратников было немного,
Миры от случайности пыли очисти,
Твори лаконично и строго.

1920 г.

Витебск. Окраина.
Здесь в ослепших домишках
И юные стары,
Здесь так много голодных,
Кричащих детей.
Здесь проносятся бури,
Родятся пожары
Среди спутанных
Улиц — сетей.
Как угрозы судьбы —
Чьи-то пьяные лики
У еврейских убогих
Лавчонок — старух...
Здесь разносятся часто
Погромные крики
И кровавый летает здесь пух.
Мать, кормящая сына.
Тут вечная тайна,
Где в грязи и морщинах
Мадонны лицо.
Город сытых
Собой защитила окраина,
Как живое
Больное кольцо.
И вот в этой окраине
Родился Шагал!
Шагал зашагал...
Научившись шагать,
Захотел полетать.
Полетел высоко,

Улетел далеко —
Не догнать.

*Бисковатики (окраина Витебска,
где родился Шагал) 1916 г.*

* * *

От какой-то позорной обиды
Я поднять не решаюсь лица!
На обрубках ползут инвалиды,
На плакатах: "Война до конца!"
Вижу фабрик голодные дома
Раззевают огромные рты.
Снова стыд ощущаю знакомый
От сознания людской слепоты.
Вы опять говорите надменно
О победах в упорных боях!
Чьи живые упругие члены
Вы сейчас отсекали в речах?
Чьи тела извивались пред вами?
Чья катилась в крови голова?
Слишком скоро узнаете тоже
Вы конец этой "славной" войны!
Ожидая подачи прохожих,
Инвалиды лежат у стены,
И опять от позорной обиды
Я поднять не решаюсь лица,
На обрубках ползут инвалиды,
На плакатах: "Война до конца!"

Петроград, 1917 г.

Р.Р. Фальку.

Меня вскормила чуждая природа,
Холодная суровая страна.
На языке чужого мне народа
Я говорить и петь обречена.

Не оттого ль такая несвобода
Живет во мне, во всем, что я творю.
На языке враждебного народа
Я о любви с тобою говорю.

Каким бы сладостным глубоким пеньем
В словах любви звучал б родной язык.
Но ты, как я, в снегах рожденный пленник
К косноязычию привык.

Да прозвучит тебе освобожденьем
В часы любви, в часы счастливых встреч
В моей груди страны восточной пенье —
Немая речь.



Лия ВЛАДИМИРОВА

ХЛЕБНОЕ ВИНО

1

Похмелье

Ползло по скатерти вино.
Сквозь притворенное окно
Сочился свет белесоватый;
В забытой кухоньке темно,
И чайник остывал пузатый,
И гости, сонные давно.

А на дворе сырая мгла,
Никак понять я не могла —
Не то ли поздно, или рано...
И храп летит из-под стола,
И муха мечется со зла
И бьется о края стакана.

ХЛЕБНОЕ ВИНО

Гляжу, не поднимая век,
Как пьяный бросился на снег:
"Орел!" — выкидывалась решка...
А рядом тощий кот сидит,
В глаза закрытые глядит
Со снисходительной насмешкой.

Полы прохватывает дрожь.
От сна в потемках не поймешь —
Будильник тренькнул иль бутылки?
Ночной рассеялся угар,
И белый день, как санитар,
Подносит свежие носилки.

2

Кривился месяц и бледнел,
Подсвечник мутно зеленел.

А за столом полутемно,
В стаканах — хлебное вино,
И никого вокруг стола:
Пустая горница была.
Но осторожно скрипнул пол,
И вносит женщина котел,
И ставит, всю меня обдав
Пахучим духом душных трав.
"Откушай, — говорит она, —
Со мною зелена вина..."
И, зачерпнувши из котла,
Склонясь, мне чашу подала:
"Чтоб не в землю — это зелье,
Это зелье — чтоб жилось,
Чтоб в охотку да в веселье
И плясало, и пило."

Выпей-ка это
Красное лето,

Красный до слез
 Зеленый покос!"
 Я пригубила едва —
 Уже кружится голова...
 И разом выпила до дна.
 "Пей дальше, — говорит она.
 И хохочет: — Пей, не брось!
 Ты явилась не за тем ли?
 Это зелье — чтобы в землю,
 Не в охотку, не в веселье,
 Это зелье — пей! — к похмелью,
 Это зелье — чтоб до слез.
 Пей настой из жженных кос!
 Будешь ты теперь жена,
 Будешь ты теперь одна,
 Будешь чахло зеленеть,
 Как под этой свечкой медь,
 Как под тиною вода,
 Будет зелена беда.
 Добрая жена — веселье,
 А жена худая — зелье!"

И зелены глаза у ней:
 Полыни горькой зеленой.

А за столом полутемно,
 В стаканах — хлебное вино,
 И никого вокруг стола:
 Пустая горница была.

3

Милый, не остыну,
 Милый не забуду:
 Я к тебе, как к сыну
 Относиться буду.
 Ужин разогрею,

Соберу посуду,
 Буду все добрее,
 Все старше буду.
 Чтоб побыл со мною,
 Попрошу — как сына,
 Горькое, хмельное —
 Прочь из сердца выну.
 Буду на скамейке
 Греться в час тягучий:
 Не ожить той змейке,
 Ранящей и жгучей.
 Не ожить той змейке,
 И тоске не хлынуть, —
 Лишь к жене-злодейке
 Сердцу не остынуть.
 Постелю постелю
 Милому с любовью
 И дохну метелью
 Белой в изголовье.
 Напою я складки
 Стылой тьмой ночью, —
 Будешь спать ты сладко
 С молодой женою!

4

Вечерний разговор

— Если хочешь и можешь — иди сюда,
 А не сможешь — ступай назад...
 — Не воротится вспять голубая вода,
 Не поправится ветхий сад...

— Будем мы ловить водяных жуков,
 Там овражек вымыт водой...
 — Там сухих коров да кривых быков
 Водит леший на водопой...

— Если хочешь и можешь — собой побудь,
 А не сможешь — ступай, пойму...
 — Положи-ка белую руку на грудь:
 Слишком холодно одному.

5

Я нынче темна и горбата,
 А прежде не помнила зла,
 Была побеленее хата,
 И я побелее была.

Я мужу исправно служила,
 И квас мой казался хмельным.
 Ах, сколько голов закружила
 Подолом, зеленым, льняным!

Муж учит, и мучают дети,
 И свекор косится, как зверь...
 Ах, тонко на синем рассвете
 Скрипела морозная дверь!

Была побеленее хата,
 И я побелее была.
 Ах, горько ли быть виноватой
 Всю ночь от темна до бела!

6

Все дороги прямы, хаты и подворья,
 И нигде ни ямы и ни крутогорья.

Лес ли крупнокряжий, берег ли горячий —
 Все вокруг лебяжье, снег валит все круче,

Лапчатый, узорный, падает на звезды,
 На порожек черный, на вороньи гнезда.

Разгорись рябина, — крут морозец первый,
 Утолись, кручина, — крут морозец первый.

Ах, зима отличная, чистого размола:
 Вновь муку пшеничную сыплет из подола.

Ляг и опочинься, белая дорога...

К снегу не кручинься, лишь грусти немного.

Москва, 1970.

7

Вдоволь русского простора,
 Одиночества и чая...
 И свистит об эту пору
 Скука севера, крепчая.

Что же делать, дело к свадьбе.
 Клены в окнах пламенеют.
 Надо милую обнять бы,
 Только руки коченеют.

Дело к ночи и к морозу.
 Платье белое снимаю,
 Волю, белую березу,
 Люли, люли, заламаю.

1975.

8

Бывало, помню, слово льется
 С завидной легкостью. Ответь:
 Что, если вдруг ко мне вернется
 Мое призвание — хмелеть?

Что, если скудное былое,
Себя не сразу истребя,
Во что-нибудь тревожно-злое
Переработает себя?

Что, если памятная смута
Еще живет во мне? (Услышь!)
Меня не бросишь в ту минуту,
Прощанием не отрезвишь?

А если сумрачно и строго
В глаза мне глянешь, оступлюсь:
Своей омытая тревогой,
Своей виною обелюсь.

1979.

В ближайшее время выходит 3-е издание,
исправленное и дополненное
литературных воспоминаний
АНДРЕЯ СЕДЫХ

ДАЛЕКИЕ, БЛИЗКИЕ
(с иллюстрациями)

Воспоминания о Бунине, Шаляпине,
Алданове, Рахманинове, Бурцеве,
Ремизове, Глазунове, Кусевицком,
Шагале, Тэффи, Дон Аминадо,
Саше Черном и мн. др.

Цена 8 долларов с пересылкой.
Изд. Нового Русского Слова.
Заказы направлять по адресу:
Novoye Russkoye Slovo
243 West 56 St. N. Y. 10019.



Борис ШРАГИН

ЧЕРЕЗ ИНДИВИДУАЛИЗМ — К УНИВЕРСАЛЬНОСТИ

Бывает, что целое мировоззрение наращивается вокруг записи в пятом пункте паспорта: русский — русское, еврей — еврейское и т.д. Сознание, еще недавно аморфное, обретает твердокаменность. Собственно, вчера личности не было, а только советский человек. Но если не сегодня, то завтра ее опять не будет, потому что она торопится затвердеть в кристаллик, во всем уподобленный множеству других.

Трудно остаться самим собой, когда еще не определилось, что такое я сам. Вдруг находишь себя в центре мироздания и в ответе не только за себя, но и за него тоже. И первый тут соблазн — записаться в какую-нибудь группу, а за все в ответе объявить какую-нибудь другую группу. Так субъективное торопится объективироваться и исчезнуть.

Может быть, срабатывает "чувство" локтя: было бы чувство, а локоть найдется. А, может, есть и какая-нибудь другая причина у этого феномена. Ясно только, что нашему нынешнему интеллектуалу неуютно ходить в индивидуалистах. При первом дыхании свободы разыгрывают национальные амби-

ции, возникают коловращения сплоченности и единомыслия. И под новыми флагами марширует прежняя нетерпимость.

Национальные привязанности или преданность определенной религиозной конфессии критике не подлежат. Но все-таки знаменательно, что в обществе, где личность десятилетиями подавлялась, вдруг появляются и находят хороший прием на тему: "нация-личность". Расширение кругозора тут иллюзорное, на самом-то деле он сужается.

В истории русской культуры нечто аналогичное случилось в XIX веке. Тогда тоже пробуждение личности обернулось ее объективацией (я беру этот термин в бердяевском смысле). Часть вновь народившейся тогда интеллигенции обратилась к славянофильству, которое постепенно выродилось в элементарный русский шовинизм. Другая же часть, западническая, разбилась на кружки и партии, самая успешная из которых сковала своих членов железной дисциплиной. Последствия всем известны.

Правда, в начале нашего столетия наиболее чуткие и критически мыслящие поняли опасность, попытались свернуть на новый путь, но опоздали. Их традиция была насильственно прервана и затерялась. Так ремесленники Московской Руси, после татарского нашествия, потеряли некоторые утонченные умения своих киевских предков.

Но, слава Богу, мы еще не разучились читать по-русски.

САМОУТВЕРЖДЕНИЕ

Напрасно я хотел всю жизнь отдать народу:
Я слишком слаб; в душе ни веры, ни огня...
Святая ненависть погибнуть за свободу

Не увлечет меня:
Пускай шумит ручей и блещет на просторе, —
Струи бессильные смиряются и падут
Не в бесконечное, сверкающее море,
А в тихий, сонный пруд.

(Д. Мережковский)

Новый этап эволюции начался с декаданса. Программная упадочность легла основой того мощного и все набирающего силы подъема лирики, которым отмечены первые десятилетия XX века в русском искусстве. Д. Мережковский написал свое антиобщественное по настрою стихотворение еще в 1887 году, и ему еще предстояло вернуться к спорам об исторических судьбах России, о месте интеллигенции в определении этих судеб. Ему предстояло стать даже первым глашатаем идеи искусства как жизнестроения и растворения художественной деятельности в новом религиозном сознании. А пока, казалось, социальные, политические и нравственные вопросы перестали интересовать интеллигентное общество.

Если раньше идеалом мыслилось приобщение личности к какому-либо делу, претендующему на всемирно-историческую значимость, то теперь личность как бы уходит в себя. Одиночество становится отрадой, и малейшие нюансы переживаний представляются не менее важными, чем судьбы мира.

**По тем дорогам, где ходят люди,
В часы раздумья не ходи, —
Весь воздух выпьют людские груди,
Проснется страх в твоей груди.**

**Оставь селенья, иди далеко,
Или создай пустынный край,
И там безмолвно и одиноко
Живи, мечтай и умирай.**

(Федор Сологуб)

Идея смерти как бы завораживает поэтов. И, действительно, для индивида, который признает все ценности бытия лишь в самом себе и не имеет ни желаний, ни надежды влиться "в бесконечное сверкающее море" истории, осознание своей конечности, предчувствие неумолимого исчезновения вырастает до масштабов самой великой и самой жестокой трагедии. Жизнь представляется сном, в котором мерещатся то радостные события, то события печальные, а смерть

— всего лишь завершением всех снов, вечный сон. Представление смерти сопровождает каждую мимолетность, сообщая ей, однако, особую остроту и ясность — как точка в конце короткой фразы. Мгновение перестает быть будничным, выпадает из череды единообразия, вызывает жажду самозабвенного, всепоглощающего созерцания. Это созерцание требует сосредоточенности и побуждает поэта бежать от людской суеты. Жизнь с самим собой — многоцветнее, разнообразнее, богаче смыслом, чем бессмысленная толкотня людского общения.

**Я ненавижу человечество,
Я от него бегу спеша.
Мое единое отечество —
Моя пустынная душа.**

**С людьми скучаю до чрезмерности,
Одно и то же вижу в них.**

.....

Индивидуалистическое направление русского декадентства составило лишь эпизод в духовном развитии интеллигенции. Ощущение пустоты и бессмыслия жизни, герметическое одиночество, заброшенность человеческого существа, бытие которого — мгновение в вечности, мгновение прозябания посреди зверств, насилий, эгоизма и пошлости собратий: и все же в душе человеческой брезжит свет — "свеча на столе", как скажет потом Пастернак. Если не во внешнем, окружающем, то в самом себе обретает человек пока что смутный идеал, предчувствие, предвосхищение будущего. Упорное, тотальное нежелание играть свою жизненную партию по правилам повседневности, скука и неудовлетворенность становятся сами по себе метафизическими знаками лучшего, высшего в человеке. В бездне отчаяния обретается надежда.

Погрузившись в омут индивидуалистических переживаний, художники вынесли оттуда обновленное ощущение связи своей и единства с космическими началами природы, истории, человечества. Отход от злободневных проблем социальной жизни, от партийных политических пристрастий —

хотя бы временный — помог осмыслить самоценность человеческой личности, взглянуть на мир сквозь призму ничем не ущемленного самосознания. Отход предполагал возвращение, но приносившее новое мироощущение, обретение почвы, которая казалась потерянной.

**Из мира чахлой нищеты,
Где жены плакали и дети лепетали,
Я улетал в заоблачные дали
В объятьях радостной мечты.
И с дивной высоты надменного полета
Преображал я мир земной,
И он сверкал передо мной,
Как темной ткани позолота.
Потом, разбуженный от грез
Прикосновеньем грубой жизни,
Моей мучительной отчизне
Я неразгаданное нес.**

(Федор Сологуб)

Искусство пока что — лишь уголок человеческого сознания, со всех сторон отгороженный уродливыми аксессуарами будней. Или — как в стихах З. Гиппиус — в тесной келье с пауками:

**Я в тесной келье — в этом мире
И келья тесная низка.
А в четырех углах — четыре
Неутомимых паука.**

Но чистота, ясность, прозрачность и глубина, которые вызрели в душе художника, должны преодолеть любые препоны, охватить весь мир, музыкой зазвучать в каждом человеческом сердце. Тогда свершится всемирно-исторический переворот — небо и земля, вечность и повседневность, жизнь и смерть сольются в нравственном единстве. И эта мирозидательная задача возлагается художниками на свои плечи. Эстетически обжитое одиночество разворачивается в мечту о единении людей в искусстве и посредством искусства, охватившего всю жизнь всечеловеческой эмоцией, единым ритмом. Индивидуализм как мироощущение оказался необходимой предпосылкой идеи всечеловечества, "соборности", которая в первые годы XX века стала для русской художественной культуры центральной.

"Индивидуалистическая стихия русского модернизма,— писал Ф. Сологуб,— казалась особенно неприятной русской критике и навлекла наиболее нареканий. Индивидуализм русских модернистов истолковывался, как тенденция антиобщественная, что, конечно, ошибочно. Индивидуализм никогда и нигде не мог иметь значения антиобщественного. Сама общественность имеет цену только тогда, когда она опирается на ярко выраженное сознание отдельных личностей. Ведь только для того и стоит соединяться с другими, чтобы сохранить себя, свое лицо, свою душу, свое право на жизнь... Не бунтом против общественности был наш индивидуализм, а восстанием против механической необходимости, против миропонимания чрезмерно материалистического. В нашем индивидуализме мы искали не эгоистического обособления, а освобождения и самоутверждения, на путях ли экстаза, на иных ли путях... Сам же по себе индивидуализм не был длительным и легко переходил... в демократический символизм, жаждущий соборности и соборного деяния"*.

Аналогичным образом оценивали эволюцию русского символизма от индивидуалистического самоутверждения — к идее соборности другие близкие к символизму писатели и теоретики.

"Декадентство,— писал, например, Д. Мережковский,— которое кажется концом старой одинокой личности, страшным "подпольем", глухим тупиком, есть на самом деле начало новой общественности, узкий, подземный ход в темное звездное небо всенародной, вселенской стихии"***.

Сошлемся, наконец, на Андрея Белого: "Исходя из индивидуализма переживаний, мы перешли к их универсальности. Переживание посредством символизации вырастает из пределов личности. Оно сливает индивидуумы в одно целое"****.

* Федор Сологуб. Искусство наших дней. "Русская мысль", 1915, № 12, стр. 43-44.

** Д.С. Мережковский. Не мир, но меч. К будущей критике христианства. Полное собрание сочинений. М., 1914. Т. XIII, стр. 90.

*** Андрей Белый. Арабески. М., 1911, стр. 112.

экономическому преуспеванию, неминуемо должна родить не только совершенно озверевших индивидов, но и целые озверевшие от стяжательства общества, слившиеся в строго очерченные объединения под руководством отдельных правительств. Мещанский эгоизм, ставший знаменем европейского прогресса, ведет к неумному разжиганию материальных appetites, так что сытость разжигает еще большую жадность, еще больший голод стяжания. "От благоразумного сытого мещанства до безумного голодного зверства один шаг. Не только человек человеку, но и народ народу — волк. От взаимного пожирания удерживает только взаимный страх, узда слишком слабая для рассвирепевших зверей" *.

Пафос этой критики "западного мещанства" уже сам в себе содержал единственный возможный вывод: надо настаивать на самоценности и самоцельности человеческой личности, ибо только при их признании возможно понять, и признать, и вместить в практику человеческих отношений, что есть и иные цели и ценности, кроме накопления материального богатства, что не хлебом единым и не ради хлеба единого жив человек. Надо так перестроить сознание, так перекроить творимую сознанием картину мира, чтобы в центре ее оказалась каждая отдельно взятая человеческая личность как суммирующая и снимающая в себе весь смысл мироздания. Не социальный мир, окружающий человека, не бесконечная линия исторического прогресса, на которой каждый из нас — лишь малая точка, а именно каждый из нас представляет бесконечность, каждый из нас содержит в себе единственный смысл бытия. Таков был исходный пункт индивидуалистической программы Д.Мережковского.

КАПКАНЫ

Этот же основополагающий принцип русского и европейского индивидуализма другой писатель этого времени М. Гершензон находил еще у славянофилов. "Учение Киреевского в своем чистом виде... — пишет он, — представляет собою стро-

* Там же, стр. 23.

го последовательное развитие трех положений: 1) что в человеке есть некое чувственное ядро, сфера надсознательного, которое и является верховным и единовластным органом управления личностью; 2) что чувственное ядро, объемлющее всю душевную жизнь человека от элементарного чувствования до убеждения веры, и есть в человеке единственно существенное, единственно космическое и божественное; 3) что вся работа человека над самим собою должна заключаться в правильном устройении этой своей внутренней личности, в приведении ее к единству воли, так, чтобы исчезло раздвоение между чувством и сознанием и чтобы ни одно частное чувство не брало верх над центральной, всегда верной себе волею**.

И уже Киреевский видел основной, чисто нравственный порок крайнего рационализма в том, что он ищет и утверждает истину не в человеческом существе, а вне его, включая человеческие души в некие отвлеченные схемы разума и самого человека превращая в отвлеченность. "Заблуждение думать, — продолжает М. Гершензон излагать взгляды Киреевского, — что знание тем совершеннее, то есть тем ближе к истине, чем пассивнее воля относится к процессу познания: объективность науки — миф, объективную может быть только формальная сторона науки, например, математические выводы; полное же знание не приобретается извне, как вещь, а вырабатывается всей личностью из материала действительности в живом творческом процессе***. Само собою разумеется, что у славянофила Киреевского эта этическая критика рационализма и прагматизма еще больше и, во всяком случае, гораздо последовательнее связывалась с критикой Европы, "европейской цивилизации", чем у Герцена.

Так вот, именно это традиционное для России XIX века противопоставление российских, славянских начал — европейским и не могло удовлетворить деятелей культуры начала XX века. "Дело не в том, — писал М. Гершензон, — прав ли

* М. Гершензон. Исторические записки (о русском обществе). М., 1910, стр. 25-26.

**Там же, стр. 44.

был Киреевский в своих утверждениях о характере западного и русского начал; философское изучение истории и теперь, через шестьдесят лет, далеко не продвинулось настолько, чтобы оправдать или опровергнуть эти утверждения. Ошибка Киреевского была глубже. Открыв основной закон совершенствования, именно внутреннее устройство духа, он должен был передать его людям в чистом виде, сильным одною его метафизической правдой, не предуказывая форм, в которые дух должен был отлиться в будущем. Вместо этого он задался целью обнаружить те готовые формы, в которых, по его мнению, раз навсегда воплотился этот закон — православию — древняя Русь**.

Стало быть, для Гершензона ценность философского наследия славянофильства имеет жестко фиксированную границу: это наследие представляется ему совершенно неприемлемым во всем том, что в нем, действительно, от славянофильства. Во всем том, иначе говоря, где философы-славянофилы переходили от утверждения нравственной, мировоззренческой и практической суверенности человеческой личности — к поискам именно "готовых" форм, наличных в исторической реальности условий, такую суверенность обеспечивающих. Славянофилы, по мнению Гершензона, были глубоко правы в своей философии, но в корне заблуждались, когда переходили к исторической и национальной конкретике. Здесь видится ему с трудом объяснимая непоследовательность, результат того, что славянофилы принесли в жертву патриотическим и политическим симпатиям свои глубоко выношенные нравственные постулаты. Они изменили той "метафизической правде", которая им открылась.

Непоследовательность славянофильства в той форме, как ее фиксировал Гершензон, выводится им отчасти из того фундаментального и даже рокового противоречия, которое порождено двойственной природой каждого человеческого существа, которое бесконечно по своим духовным возможностям и запросам, но в то же время оказывается брошенным в мир конечных вещей. По внутренней своей склонности, че-

*Там же, стр. 36. Выделено М. Гершензоном.

ловек старается связать воедино эти два полюса своего бытия, то есть утвердить в подлежащих ему "готовых", конечных условиях существования — условия вечные, раз навсегда данные, полностью соответствующие его бесконечным устремлениям. Так происходит философская канонизация действительности, а сама философия вырождается в мертвую, метафизически замкнутую, догматическую систему.

"Догматизм, как стремление выразить чаяние бесконечного в умопостигаемой форме, то есть в понятиях, заимствованных из мира конечного, есть признак ограниченности и вместе условие силы человека: всю полноту этого чаяния человек не может выразить в конечной форме, но человек не может обойтись без этой материализации своей веры, потому что только благодаря ей невыразимая концепция Бога становится действительным агентом в конечных условиях его жизни**.

Но нельзя жертвовать вечным в пользу временного, нельзя интересы человеческой личности предавать охранительным интересам национального и социального "статус-кво". Ибо тогда высокие нравственные идеалы практически становятся фразой, а контакт человека с наличной действительностью, сам по себе необходимый и неизбежный, превращается в капитуляцию перед ней. Именно это произошло с русским славянофильством. Беда его, по мысли Гершензона, заключалась в том, что оно вступило в союз с властью, превратилось в идеологическое прикрытие национального мракобесия. "Пусть лучше знающие, — пишет Гершензон, — расскажут, во что выродилась печальная истина у преемников славянофильства — у правых, и как это забвение ее, соединенное с кощунством над нею, исказило там облик человека. Их деятельность у всех перед глазами: это они владеют теперь русской землей и в иступленном безумии ведут ее к гибели***.

Крах славянофильства представляется Гершензону тем более трагическим, что именно оно в его глазах было в русской традиции провозвестником личного совершенствования как единственно нравственной жизненной позиции. Оно против-

*Там же, стр. 57.

**Там же, стр. 152.

стояло западникам, которые не столько заботились о внутреннем устройстве человека, сколько о его внешнем устройстве. Укоренение в конечном, уверенность, что преобразование политических и социальных институтов может повести к преображению нравственного облика человека, были свойственны именно западникам как сторонникам рационалистического мировоззрения. Славянофилы же как будто заботились прежде всего о бессмертной душе человека и поэтому, а не по какой-либо другой причине, оказались консерваторами, людьми равнодушными или даже враждебно настроенными к социальным преобразованиям. Тем более показателен их крах. Тем к более радикальным жизненным выводам он призывал русскую интеллигенцию.

КУЛЬТУРНОЕ ХАМСТВО

Идейные крайности русского XIX века сошлись в одном, но решающем пункте: в том, что они в конечном счете выдвигали и признавали некое надличное и внеличное начало исторического процесса, в котором личность должна раствориться и только таким путем обрести свое истинное содержание. Но это внеличное присутствовало в российской действительности в форме и образе самодержавия. Тупой, дикий и грубый гнет не только придушивал духовную жизнь в стране, но и придавал ей совершенно аномальную направленность, вынуждал общественность вырабатывать и расценивать идеи не по их абсолютному нравственному значению, а в зависимости от того, насколько они созвучны или насколько они оппозиционны самодержавию. Так в тюрьме нравственность всех без исключения арестантов формируется и определяется их отношением к тюремщикам.

Это и предрешило судьбу славянофильства, несмотря на тот бесспорно высокий гуманистический потенциал, который несли в себе идеи его основоположников. "Идеи общественного строительства, вопрос о политической свободе, — пишет Гершензон, — надолго поглотил внимание общества и литературы; в разгоревшейся борьбе имели значение только ис-

торические теории славянофильства, потому что из них вытекали определенные директивы на будущее; не удивительно, что прогрессивная публика только эту сторону славянофильства и знала, только ее и оспаривала..."* Получалась странная и малопривлекательная картина: с одной стороны, славянофильство, вступив в союз с православием и самодержавием, совершенно утратило свойственную ему идею внутренней свободы человека; с другой же стороны, западническая традиция, отстаивающая политическую свободу, борющаяся с самодержавием, вообще сняла вопрос о самоопределении человеческой личности. На обоих концах получился догматизм в том смысле, который имел в виду Гершензон. Личностные критерии вообще выпали из поля зрения русской общественной мысли, и это в позитивной или негативной форме оказалось отражением антиличностной, античеловеческой природы самодержавия.

"Когда мысленно вглядываешься в облик среднего русского интеллигента, — пишет Гершензон, — одна типическая его особенность сразу бросается в глаза: это, прежде всего, человек, с юных лет живущий вне себя, в буквальном смысле слова, то есть признающий единственно достойным объектом своего интереса и участия нечто лежащее вне его личности — народ, общество, государство... Никому не приходит на мысль, что человеку нельзя жить вечно снаружи, что именно от этого мы и больны субъективно, и бессильны в действиях"***.

Интересно, что Мережковский, идя в "Грядущем хаме" от критики "мещанства", данной Герценом, приходит к выводам, очень близким к гершензонским. Он показывает, что надежды Герцена на социалистические возможности крестьянской общины неосновательны, что и эта наличная, "готовая" форма общественности, мало может способствовать преодолению "мещанства". "Почему, в самом деле, — спрашивает он, — общинное владение муравейником должно изба-

*Там же, стр. 38.

**Там же, стр. 154.

вить муравьев от муравьиной участи? И чем дикое рабство лучше культурного хамства?"*

И Мережковский также приходит к выводу, что главное для судеб русской интеллигенции и русской культуры — высвобождение личности, ее внутренних потенций безотносительно к каким бы то ни было внешним историческим данностям и обстоятельствам. Культура, иначе говоря, должна высвободиться из-под диктата политики, должна развить и упрочить свои собственные интересы. "Русская политика съедала русскую культуру, как соленый ветер — тощие растения на морских побережьях. Образовалось политическое подвижничество, своего рода монашеский орден для борьбы с самодержавием. В науке, искусстве, философии, религии отметалось все, что не способствовало прямым целям этой борьбы, всякая попытка отойти от нее осуждалась, как измена и предательство. Выросли две противоположные цензуры — одна правительственная, реакционная, довольно слепая, неуклюжая; другая общественная, революционная, очень зоркая и меткая — обе одинаково беспощадные"**.

В другом месте (см. "Жизнь и творчество Л. Толстого и Достоевского") Мережковский вспоминал о том, как радикально настроенная общественность травила Достоевского и препятствовала ему осуществлять свои журнальные начинания. Если великий русский писатель за всю свою жизнь, несмотря на упорное желание свое и множество предпринимавшихся им попыток, так и не смог утвердить авторитет своего собственного печатного органа, то эту рану, этот ущерб национальной культуре нанесла не царская цензура, а сама интеллигенция, которая узостью и прагматичностью своего подхода к литературным явлениям в чем-то стала в одну плоскость с самодержавием. Это, действительно, ярчайший и, быть может, печальнейший пример того, как интересы минуты поглощали внимание русского образованного обще-

* Д.С. Мережковский. Грядущий хам. Полное собрание сочинений, т. XIV, М., 1914, стр. 15.

**Там же. Революция и религия, т. XIII, стр. 82—83.

ства и препятствовали ему смотреть на вещи более широко. И это грозило большими бедствиями в будущем — особенно в стране, в которой ростки культуры со всех сторон обступались дикостью и невежеством. Эмансипация личности стала, таким образом, не только все более остро ощущаемой личной потребностью, но и приобрела огромное общественное значение.

"Не бойтесь никаких соблазнов, никаких искушений, никакой свободы, — обращался Мережковский к русской интеллигенции, — не только внешней, общественной, но и внутренней, личной, потому что без второй невозможна и первая. Одного бойтесь — рабства и худшего из всех мещанств — хамства, ибо воцарившийся раб и есть хам, а воцарившийся хам и есть черт — уже не старый, фантастический, а новый, реальный черт, действительно страшный, страшнее, чем его малют, — грядущий Князь мира сего, Грядущий хам"*.

*Там же, т. XIV, стр. 37.



"Какая это великая истина, что, когда человек весь отдается лжи, его оставляет ум и талант".

Виссарион Белинский. Письмо к Гоголю.

Дора ШТУРМАН

НИКОЛАЙ БУХАРИН - ЛЮБИМЕЦ ПАРТИИ

Вместо предисловия

Когда после почти четверти века мытарств вдова Бухарина обратилась к Хрущеву с просьбой о реабилитации казненного мужа, все было понятно. Для уцелевших ЧСИР* имело существенное практическое значение, снято ли с них клеймо зачумленных. Да и реабилитацию многие в ту пору воспринимали еще всерьез: а вдруг "дела" пересматривают по-настоящему? Как оставить необеленной память близкого человека? Но сегодня, через двадцать два года после начала этой позорной пародии на правосудие, неужели подобные побуждения еще сохраняют смысл для сына Бухарина**? Кто и в чем должен реабилитировать его отца?

Почему поддерживают просьбу Ю. Ларина о реабилитации Н.И. Бухарина главы европейских компартий, — понятно.

* — член семьи изменника родины, "литерная статья", согласно которой репрессировали членов семей осужденных "врагов народа".

** В конце 1978 года западные средства массовой информации сообщили, что сын Н.И. Бухарина Ю. Ларин ходатайствует перед ЦК КПСС о реабилитации своего отца.

Им очень хочется отыскать в истории РКП (б) — КПСС людей, которые, не уничтожив их Сталин, построили бы в СССР "социализм с человеческим лицом". Бухарин, согласно ныне распространенному представлению, как нельзя более годился для исполнения не состоявшейся по ряду частных причин исторической роли, альтернативной Сталину. Кроме того, официальная реабилитация Бухарина повысила бы авторитет современной КПСС, столь досадно для Берлингуэра или Марше себя компрометирующей.

Когда речь идет о живом арестанте, то приходится требовать от судей неправедных его оправдания и даже помилования, чтобы спасти человека. Но мертвого?! Его-то зачем опять проводить через их судилище? Много ли чести для кого бы то ни было быть посмертно оправданным с точки зрения Брежнева или Андропова?

Думаю, что сегодня единственный более или менее корректный способ исследования судьбы, убеждений, действий и черт Бухарина — способ литературный, не претендующий на право карать или миловать. Так написал Артур Кестлер о своем Рубашове — герое к Бухарину очень близком, но, полагаю, портретно с него не списанном. Для исследователей, художников, читателей, зрителей это весьма примечательный материал — Николай Бухарин с его восьмилетним кошмаром и сталинской пулей завершённой жизнью.

"ЛУЧШИЙ ТЕОРЕТИК ПАРТИИ"

За сорок лет, истекших после его гибели, Бухарин успел из "любимца партии" стать любимцем широкого круга авторов, по преимуществу западных. Эти авторы объединены, при всех их различиях, верой, что жертвы Сталина унесли с собой какие-то страшные для него и спасительные для марксизма идеи. По их представлению, Бухарин — один из немногих истинных интеллигентов партии, эрудит, энциклопедист, до педантичности честный мыслитель, добрый, милый, обаятельный

человек. Сверх всех этих редких достоинств Бухарин обладал якобы еще и жизнеспособной демократической моделью социализма. Г-н С. Хэйтмен* сообщает, к примеру, своим читателям, что, "поглощая литературу на нескольких языках", Бухарин "с компетентностью профессора-эксперта обсуждал весь спектр идеологической мысли XX века". Для начала приведем несколько образцов этой профессорской эрудиции:

"...духу настоящей общественной науки прямо претит бестолковое повторение "вечных истин", прогорклая жвачка, достойная ученых ковров либерализма". ("Теория диктатуры пролетариата", 1919.)

"...точно также оценивали положение вещей и теоретики международной социал-демократической гнили. Эта пададь тоже ухватилась за возможность констатировать пресловутый крах!" ("О ликвидаторстве наших дней", 1924.)

"Если не рассматривать исторического процесса под углом зрения целостности кисточек у занавеса или гербов на фарфоровой ночной посуде, ...тогда не приходится плакать в подушку и спрашивать себя, не "впустую" ли "случилась" революция".

"В стальных осколках, в ядовитых газах, во вшах, в человеческом кале и крови грозит задохнуться "благородная" культура капитализма, которая пожрет самое себя! ...Наша наука перестает быть занятием парочки кабинетных ученых; ...на первый план рабочий класс и его партия поставили массу; не отдельных жрецов, не отдельные экзотические тепличные растения, ...не отдельные бриллиантовые ручки культуры, а громадный, широкий и глубокий поток массового культурного строительства. ...Мы... буржуазно-мещанскую мораль уничтожили, мы ее по косточкам разложили, она сгнила у нас под руками... Мы создаем и мы создадим такую цивилизацию, перед которой капиталистическая цивилизация будет выглядеть так же, как выглядит "собачий вальс" перед героическими симфониями Бетховена". ("Ленинизм и проблемы культурной революции", 1928.)

Итак, осужден, осужден и даже приговорен "весь спектр идеологической мысли XX века": либералы, социал-демократы, просто ученые, западноевропейские и русские, вся "благородная" культура капитализма...

* "Путь к социализму в России. Избранные произведения Н.И. Бухарина", Омикрон Букс, Нью-Йорк. Редакция и вступительная статья Сидни Хэйтмена, профессора истории университета штата Колорадо (предисловие, аннотации к работам Бухарина на русском и английском языках), 1967. Все ссылки на С. Хэйтмена — по этой книге.

Нам возразят, что это всего лишь отрывки, представленные вне контекста. А какой контекст может оправдать такие суждения?

Бухарина считают прежде всего и по преимуществу теоретиком.

Для теоретизирования, как необходимое (хотя и недостаточное) его условие, нужна честность мысли. Приведу один небольшой пример, характеризующий Бухарина-теоретика. Вопрос поставлен немаловажный:

"Чем же определяются особенности нового государственного типа"? Речь идет о государстве диктатуры пролетариата. Бухарин так отвечает на свой вопрос: "Во-первых, пролетарское государство есть диктатура большинства над меньшинством страны, тогда как всякая иная диктатура была бы диктатурой кучки; во-вторых, всякая прежняя государственная власть ставила своей целью сохранение и упрочение процесса эксплуатации. Наоборот, совершенно ясно, что большинство не может жить за счет кучки и пролетариат не может эксплуатировать буржуазию." ("Теория диктатуры пролетариата".)

Но ведь Бухарин знает, что пролетариат не является большинством ни всего населения страны, ни даже его работающей или трудоспособной части! В статье "Новый курс экономической политики" (1921) он дает цифры в пятнадцать миллионов рабочих, что составляет десять процентов российского населения! В 1922 году на XI съезде РКП (б) в нескольких выступлениях повторяется цифра два-три процента рабочих от всего населения.

Достаточно вынуть из основания бухаринской "теории диктатуры пролетариата" кирпич мнимого пролетарского большинства — и вся его аргументация законности и благости этой диктатуры повисает в воздухе или оборачивается собственной противоположностью.

Многочисленные и разнообразные оппоненты большевиков неоднократно уличают их в этой лжи. И с неизбежностью (иначе надо прощаться с претензией на научность своей политики) возникает новое теоретическое достижение: знаменитый тезис о прорыве "слабого звена в цепи мирового империализма". Поклонники Бухарина особенно энергично отстаивают его приоритет перед Лениным в этой идее. Многослов-

ные рассуждения на эту тему Ленина и Бухарина сводятся к очень простому доводу. Мировой исторический процесс и современное человечество надо рассматривать как единые целостные системы. Если в России общественное производство не полностью созрело для социалистической революции, то в мировых масштабах эта зрелость уже достигнута. А потому неважно, на каком участке мирового империалистического фронта будет пробита социализмом первая брешь. Где легче, там и пробьем. Эта мысль настолько наукообразна, что по сей день далеко не у всех вызывает сомнение. Между тем она не выдерживает анализа с нескольких точек зрения, из которых мы коснемся одной: пролетариат и в мировых масштабах никогда не являлся большинством населения, даже не приближался к его большинству. Поэтому диктатура пролетариата в мире, рассматриваемом как целое, не более обоснована, чем в России.

Во времена Бухарина население мира составляло примерно два с половиной миллиарда человек (двадцатые-тридцатые годы). Население развитых промышленных стран мира приближалось к пятнадцати процентам всеземного населения. Число рабочих в развитых странах не достигало пятидесяти процентов их населения. Следовательно, оно равнялось не более чем семи процентам мирового населения. Вот вам и обоснование законности диктатуры пролетариата его большинством уже не в российских, а в мировых масштабах, Маркс и Энгельс вполне могли ошибочно экстраполировать в будущее производственные тенденции своей эпохи. Но Бухарин и Ленин?! Самые разные люди, группы и организации: от сельских ходяков — до академика Павлова и Максима Горького; от комитетов рабочих союзов — до эмигрантских газет — обвиняют большевиков в подавлении гражданских прав и свобод всех слоев общества — его б о л ь ш и н с т в а , в том числе и рабочего класса. И Бухарин предлагает новые теоретические построения, призванные скрыть правду. Параллельно постоянно славословию пролетариата учащаются в его речах и работах вкрадчивые и осторожные мысли о темноте, незрелости, невежестве пролетариата вообще и российского — в частности.

Бухарин подчеркивает это не потому, что он не мог бы в случае необходимости так же легко назвать пролетариат самым образованным классом в истории человечества, как он назвал два-три процента российского населения его большинством. Он не хочет игнорировать факт культурной отсталости рабочего класса. Обосновать безвластие пролетариата функционально, то есть тем, что рабочий, стоящий у станка (а не в ы х о д е ц из рабочей среды), не может одновременно "работать государственную работу" (Маркс), — марксист не имеет идеологического права. Что тогда остается от самой идеи диктатуры пролетариата? Предоставить рабочим обыкновенные демократические права, в том числе и профсоюзные, большевики не хотят: что тогда осталось бы от их диктатуры? И возникают очередные фарисейские построения.

Во-первых, Бухарина спасает один из главных приемов коммунистического теоретизирования как такового: непрерывная подмена имен и понятий. Он постоянно камуфлирует ЦК — под партию, партию — под пролетариат, правящую партократическую олигархию — под "авангард пролетариата", ее всесторонний абсолютизм — под "диктатуру пролетариата", то есть п о р а б о щ е н и е — п о д о с в о б о ж д е н и е . Но, как и в случае с пролетарским большинством, достаточно выдернуть из-под его многоречивых и уверенных построений эти уподобления — и все пирамиды его риторики со всеми их логическими, ироническими и патетическими фигурами рухнут.

Во-вторых, без конца варьируется мысль, восходящая еще к "Коммунистическому Манифесту", в котором зияло неразрешимое противоречие: пролетариат — гегемон социалистической революции, диктатор в послереволюционном обществе, и он же — самый отсталый, культурно и физически вырождающийся класс буржуазного общества!

В капиталистическом обществе, — говорит Бухарин, — пролетариат "постоянно воспроизводится как культурно низшее, хотя и самое большое, общественное звено... Тем не менее, благодаря, главным образом, двум обстоятельствам — росту рабочих организаций и интеллигентским перебежчикам (об этом речь будет идти подробно ниже)

рабочему классу удастся создать ростки своей идеологии, а следовательно, и своей пролетарской культуры ("Буржуазная революция и революция пролетарская". Разрядка наша).

Читатель уловил главные мысли Бухарина? Во-первых, культура отождествлена с идеологией, то есть неразрывна с марксистским мировоззрением; во-вторых, формируют "культуру" в общем-то "культуру низшего" пролетариата "интеллигентские перебежчики". Именно "перебежчики", ибо интеллигенция в целом, по Бухарину, пролетариату враждебна:

Господствующий пролетариат в первую фазу своего господства имеет против себя... техническую интеллигенцию и интеллигенцию вообще (инженеры, техники, агрономы, зоотехники, врачи, профессора, адвокаты, журналисты, учительство в своем большинстве и т. д.). ...правильная политика по отношению к ним... предполагает в конечном счете санкцию концентрированного насилия ("Теория диктатуры пролетариата").

Чувствуя вероятность вопросов, подобно нашим, Бухарин спешит задать их сам: "Каким же образом, несмотря на свою неизбежную культурную отсталость, пролетариат создает более прогрессивные основы культуры, чем буржуазия?" Действительно, каким же?

Здесь, — отвечает Бухарин, — мы переходим к вопросу о классе, партиях и других организациях класса и о так называемых вождах. ...совершенно естественно, что политическая партия данного класса... является объединением наиболее зрелых элементов класса, через которые класс наиболее правильно выражает свои интересы. Противопоставление партии классу нелепо поэтому в высочайшей степени. Из неоднородности членов организаций (и партии в том числе) вытекает объективная необходимость в группировках руководителей (вождей), через которых партия (или данная организация вообще) выражает свою волю ("Революция буржуазная и революция пролетарская").

Разумеется, Бухарин не говорит о тех таинственных механизмах, с помощью коих "вожди" ("интеллигентские перебежчики") становятся выразителями воли "неоднородной" по культуре и сознательности партии. Не может он объяснить и того, как партия оказывается выразителем воли класса, да еще "неоднородного по общественно-технической квалификации своих сочленов, ...по их культурному уровню, по

чистоте классового типа" (очень хотелось бы знать, чем отличается "чистота классового типа" от "чистоты расового типа"), по "политической зрелости" и т.д.

Зато он очень много говорит о том, что "даже так называемый "личный режим" отнюдь неправильно противопоставлять классовому господству. Наоборот, при определенном сочетании условий господство класса может находить себе адекватное выражение как раз в личном режиме", что справедливо "и для эпохи диктатуры пролетариата". И многократно подчеркивает, что принуждение должно в условиях переходного периода распространяться и на самого "гегемона". ("Теория диктатуры пролетариата").

Трудно ли заметить, что во всех приведенных выше случаях так называемое теоретизирование Бухарина есть всего-навсего придание наукообразной формы корыстному идеологическому обоснованию партийной политики?

ЧТО ДОЗВОЛЕНО ЮПИТЕРУ...

В том, как настойчиво повторяет Бухарин свои доказательства права "вождей" и "лиц" решать и думать за непосвященных и неполноценных, сквозит его органическая неспособность мерить себя и других одной меркой, весьма характерная для большинства деятелей старой "ленинской гвардии", а также для самого Ленина. В Бухарине это особенно чувствуется. Себя он решительно не мыслит в том положении, на которое обрекает других. Господа интеллектуалы, воспевающие Бухарина-теоретика, перелистайте хотя бы стенограмму Первого Всероссийского съезда учителей (съезд был не первым, но предыдущие, разогнанные за непокорность, советским историкам приказано не считать). Согласны ли вы, уважаемые университетские преподаватели, предстать перед своими студентами в том положении, на которое обрекает ваших коллег, попавших под юрисдикцию коммунистов, ваш

фаворит? В президиуме — вождь на вожде: Зиновьев, Бухарин, Рыков, Луначарский... Перед голодными учителями, не только сидящими в зале (этих, возможно, и покормили), но и рассыпанными по всей России (вожди сами признались, что ничего им не платят), выступает бывшая народная учительница Крупская:

Мне вспоминается один эпизод. В конце 1917 года, вскоре после того, как большевики овладели властью, пришел с фронта товарищ и рассказывал, как солдаты, которых поместили в школу на ночлег, изорвали в мелкие клочки все книги, разбили все физические аппараты и произвели полное разрушение. Это было сделано солдатами потому, что они чувствовали, что та школа, в которой находились все эти книги и инструменты, — школа враждебная, барская школа, школа господская, враждебная народным массам. Они чувствовали, что знания, даваемые в этой школе, служили не для того, чтобы наладить общую жизнь, а для того, чтобы вырастить слуг капитала, которые бы поработали народ.

Так вдова Ленина предупреждает своих недавних коллег о законных последствиях их нелояльности к большевизму.

А потом поднимается петербуржец, сын гимназических учителей, потомственный "образованец" Бухарин и произносит речь, циничную поистине до наивности. Одни заголовки разделов чего стоят:

"Переделка самого учительства будет содействовать расцвету новой школы"; "В годы гражданской войны не было места формальной законности"; "Трения между комсомолом и учительством — отголосок борьбы с интеллигентскими слоями"; "Поменьше чванства"; "Часть учительства окоммунистичилась, другая — на распутьи"...

А сам доклад?

Так вот, товарищи, представьте себе такое положение вещей. Если бы я вас спросил, ответьте по чистой совести, если бы партия сказала сейчас: пусть учительство руководит Комсомолом, — получилась бы что-нибудь хорошее? Нет. Почему не получилось бы? Учитель культурней — это верно, в общем и целом он культурней и больше знает, — верно. А вот, если вы это скажете на счет политической квалификации, на круг, на сплошную, то это будет неверно, потому что Комсомол может иметь массу недостатков, об этом я буду говорить впоследствии, но он есть плоть от плоти, кость от кости партийной организации.

Человек в общем может быть некультурным, а политически правильно вести дело. Это нужно понимать, — это так, как это ни странно. ...пока у нас учительство до конца не "окоммунистичено" совершенно, вытекает с неизбежностью необходимость определенного разделения труда, где учительство в целом не может еще претендовать на политическое руководство, — это совершенно ясно .

Заметьте: речь идет о комсомольцах-учащих

А ведь только что и "гегемону", и партийной массе внушалось, что не могут они по их темноте претендовать на независимость от воли "вождей"! Но учителей политически просвещать и "окоммунистичивать" они, очевидно, могут. И как внушалось: наукообразно и теориевидно! А здесь и речь-то какая-то, извините, дураковатая, словно Николай Иванович перед учителями намеренно из себя этакого пролетарского рубаху-парня строит... Но временами он перестает играть, и тогда в интонации проступает сталь, а за ней и "социальная философия":

Как это ни странно, мы все знаем, что сельский учитель живет у нас полунищим, к великому несчастью для нас. Но, тем не менее, еще существует мнение, есть даже среди комсомольцев такое ходкое словечко, которое звучит издевательством на счет шевровых ботинок учительницы. Мы знаем, что среди учительниц много поповских дочек и сыночек, которые в большинстве теперь переходят на нашу сторону, но борьба с попами у нас еще остается. И вот этот самый поп-интеллигент, помноженный на эту пару шевровых ботинок, он дает себя знать.

И это — в 1925 году, когда "вожди" и санатории за границей имеют, и на дачи ездят цекистско-личные, и ботинками шевровыми не озабочены — в отличие от комсомольцев-учащихся и поповен-учительниц.

А как защищает Николай Иванович "социально близких", какой мелочью предстает у него уголовщина — по сравнению с критиканством учителей:

Когда человек, начиненный в течение изрядного количества лет другим, когда он начинает переламываться или чуть-чуть немножко треснул по линии своего старого, когда он видит, главным образом, то, что составляет радость жизни в деревне — дебоишество и прочее, — у него опасность проглядеть большая, из-за деревьев не увидеть леса. С таким учителем очень часто разговариваешь, и он насаживает такие примеры: у вас такой-то коммунист — мерзавец, такой-то комсомолец — охальник, такой-то там украл, такой-то с девицей не так поступил,

вот там-то комсомольцы вечеринку с выпивкой устроили, а там — дебош в церкви, и т.д.

Тут есть величайшая опасность. Может быть, это все фактически правильно, но вот ты сумей подняться выше и посмотреть и увидеть, что не только это существует в природе, на круг, в большем масштабе, а кое-что и другое.

Заметьте: опасность не в уголовщине, а в том, что учителям она не по духу! Разносторонний человек — Николай Иванович, ничего не скажешь. И разноголосый...

Неужели это и есть Бухарин *au naturelle*?

И да и нет. Бухарин очень естествен в этом своем выступлении, но он в нем не весь. На X съезде РКП (б), где Ленин ударил по своей расшумевшейся снизу доверху партии знаменитой резолюцией "О единстве" с ее седьмым пунктом, направленным против вольнодумцев в ЦК, Бухарину стало не по себе. Он мобилизовал тогда всю свою словесную ловкость, всю свою умственную изворотливость, чтобы как-то выскользнуть из-под неуютной и угрожающей общей мерки. Речь его лилась, как всегда, свободно, но явственно слышалась в ней тоскливая нотка: ну, уж на нас-то, на идейной элите партии, производящей решения, вырабатывающей идеологию и избирающей направление, не затягивайте ошейник!..

Так прямо и говорил? Нет, конечно. Он воздвиг в своей речи усеченный конус, в котором "демократия" и коллегиальность (то есть свобода и полнота прав) должны были нарастать по направлению к его вершине, а "подчинение", "единоначалие", то есть бесправие, соответственно увеличиваться к основанию.

Свобода, она-то, конечно, нарастала к вершине, но конус со временем оказался не усеченным, а полным, завершаясь упомянутым Николаем Ивановичем "личным режимом", а не хорошей, равноправной, цекистской фюрерской олигархией... И что интересно: учителей Бухарин поучает высокомерно, но примитивно, а в речи на съезде и стиль, и синтаксис, и содержание чуть ли не академичные. Появляются интеллигентные тезисы свободы поиска, выбора направления, выработки идеологии... А мысль за изысканными построениями вполне простая: что дозволено Юпитеру, то не дозволено

быку. Единство единством, но можно ли, дорогие товарищи, таких "классово полноценных" (хотя и "перебежчиков"), передовых, образованных, всемогущих юпитеров — да вдруг в быки?!.

Нет, Бухарин не теоретик, а идеолог — человек, для которого мысль и слово — инструменты достижения политической цели, а не постижения истины. Но профессиональный идеолог — тоже человек мысли, вынужденный, как и теоретик, наблюдать, обобщать, оценивать. Чем сильнее его ум, выше культура, глубже наблюдательность и острее зрение, тем больше должен его преследовать и подводить соблазн — высадить днище идеологии, в которую он заключен, как в бочку, и поплыть по свободным волнам размышления. Чем старше становится Бухарин, тем независимей он себе кажется. Сталин, умело использующий его остроумие и острословие то против Троцкого, то против Зиновьева и Каменева, то в Коминтерне и т.д., поддерживает в нем до поры до времени эту иллюзию. Попытка Бухарина хотя бы отчасти позволить себе серьезно вдуматься в судьбы страны и ее народа закономерно привела его к гибели.

НАЧАЛО КОНЦА

Упомянутая многими бухаринская искренность — феномен, по-видимому, весьма сложный. Выскажу предположение, порожденное, разумеется, знакомством не с Бухариным, а с его работами и воспоминаниями о нем. Мне представляется, что эта искренность — проявление женственного характера, отдающегося каждой сиюминутной мысли, изрекаемой вслух, каждому демонстрируемому настроению так достоверно, что не только у собеседника, но и у говорящего возникает ощущение полнейшей искренности. Кто не обжигался о такой характер? Кто не встречался с ним в книгах и в хороших актерах? Я отнюдь не хочу сказать, что это игра или симуляция искренности, что люди такого склада — притворщики. Притворство исключало бы обаяние, а они обая-

тельны. Нет, это не симуляция, но аггравация*; не действие, но состояние, душевное вхождение в роль, настолько в данную минуту полное, что входящий перестает самоотделяться от роли.

Кроме того, Николаю Ивановичу легче быть добрым, чем злым, и приятней быть искренним, чем обманщиком. Но материал, над которым постоянно работает его мысль, и предрешенное идеологией направление этой мысли не позволяют ему быть честным ни с людьми, ни с самим собой. Бухарин втянут в порочный круг своей службой политике, по определению предполагающей готовность лгать и насилловать чужую волю. Научная правда и нравственная правда разошлись с этой политикой раньше, чем Бухарин вышел в ней на первые роли, а когда вышел, то оказался вросшим в нее столькими собственными нитями, что не ему, очень чуткому к своим неприятностям, было рвать их.

В СССР популярен анекдот, гласящий, что невозможно совместить в себе ум, порядочность и коммунистическую партийность. Это в разной степени справедливо для людей различных советских эпох, разного социального положения и разной степени информированности об истинном положении дел. В Бухарине такое сочетание было, к примеру, куда менее вероятным, чем в Павке Корчагине**; в Горьком и Луначарском — чем в легендарно-анекдотических Чапаеве и его Петьке. Недостаток интеллектуальной искренности и двойственность отношения к происходящему должны были стать уделом Бухарина советской эпохи достаточно рано. Я думаю, что последним полноценным проявлением его марксистской ортодоксальности была позиция "левого коммуниста" в 1918 году. Но в "Заметках экономиста" (1928) его голос вдруг зазвучал иначе, чем в решительном большинстве других работ и речей.

Случилось это, когда Сталин был вправе рассчитывать на Бухарина до конца — не менее, чем на Вышинского, или

* Искреннее преувеличение своих ощущений.

** Позволю себе и в этом, и в следующем примерах уравнивать литературных героев с живыми людьми: уж очень реальны и характерны эти герои.

Молотова, или Митина. Соблазнительно думать, что Бухарин дошел до предела в роли, в которую так глубоко втянулся, что он не захотел ни умом, ни сердцем пойти на то дальнейшее, что готовил России Сталин своим решительным отказом от НЭПа. По-видимому, человек, активно участвовавший до этого в самых малооптимальных операциях большевизма внутри и вне страны, наткнулся в себе самом на границу, через которую ему очень уж трудно было шагнуть. Недаром в 1936 году в Париже он, содрогаясь, говорил Б. Николаевскому, что преступления коллективизации превзошли все жестокости гражданской войны и военного коммунизма, что ее партийные функционеры спивались, кончали с собой и обезумевали от ужаса, ими содеянного. Вера, что он стоит уже достаточно высоко, чтобы не разделить участи недавних сталинских и своих противников, что, справившись с Троцким, Зиновьевым и другими, он с простоватым и ограниченным Кобой тем более справится, позволила ему попытаться противопоставить свою экономическую логику логике Сталина. При всем том наивно звучат слова Б. Николаевского*, объясняющие бунт Бухарина против Сталина намерением первого противопоставить "гуманитарные элементы Марксова коммунизма" крепнущему "тоталитарному этатизму", воплощенному в Сталине. Давно ли Бухарин куда красноречивей и, главное, откровенней, чем Сталин, пропагандировал тот же тоталитарный коммунистический этатизм?

"Принуждение, однако, не ограничивается рамками прежде господствовавших классов и близких к ним группировок. Оно в переходной период — в других формах — переносится и на самих трудящихся, и на сам правящий класс. ...Само собою разумеется, что этот элемент принуждения, которое здесь есть самопринуждение рабочего класса, возрастает от его кристаллизованного центра в сторону гораздо более распыленной и аморфной периферии" ("Теория диктатуры пролетариата", разрядка наша).

Если это не апология тоталитарного этатизма с "кристаллизованным центром" партийных вождей (по-немецки — фюреров) на вершине, то что же это такое?

*"Социалистический вестник", сб. № 4, 1965.

Нет, Бухарин противопоставляет сталинским планам не какие-то забытые или предаваемые большевиками элементы марксизма, а простейшие основания чисто экономического мышления, простейшие правила экономического здравого смысла. Наиболее "крамольные" мысли его общеприняты вне коммунистической политэкономии и очень просты:

1. Самый приемлемый для общества путь индустриализации возникает тогда, "когда индустрия подымается на быстрорастущем сельском хозяйстве";

2. Изъятие у крестьянина всего им произведенного, кроме прожиточного минимума, "ножницы" между ценами на крестьянские и на промышленно-государственные товары, то есть оплата крестьянского труда ниже его себестоимости, представляют собой феодально-колониальную тактику, включающую расширенное воспроизводство в крестьянском хозяйстве;

3. Тактика "максимальной перекачки (взять все, что "технически досягаемо"; брать больше, чем брал царизм, и т.д.)", ставит "СССР в этом историческом ряду "за" старой Россией, в то время, как его нужно поместить "за" Соединенными Штатами Америки"* . Американский же путь развития характеризуется Бухариным так: "Свободная земля, на начальных ступенях развития отсутствие абсолютной ренты, зажиточный фермер, огромный внутренний рынок для промышленности".

Бухарин показывает статистически, что ужесточение сельскохозяйственной политики уже привело к отсутствию зернового экспорта. Он то откровенно, то прикровенно варьирует мысль о том, что свободная крестьянская кооперация экономически предпочтительней нежелательной для крестьян, неизбежно насильственной коллективизации. И это Бухарин, который недавно язвительнейше отмахивался от всех обвинений в губительной разрушительности гражданской войны, в "дороговизне" социалистической революции, перечеркивая-

* То есть социализм должен быть продуктивней самого развитого капитализма. Иначе — зачем он?

щей ее сомнительные достижения! Более того: защищая свободу крестьянского производства и сбыта, он восклицает: "Было бы совершенно дикой вещью, если бы мы, после выпадения хлебного экспорта, на основе зернового кризиса, вообще переориентировались так, что навсегда поставили бы крест на этом экспорте. Довольно с нас временной зависимости от заграницы по линии импорта оборудования. Зависеть от нее одновременно и по оборудованию, и по сырью, и по хлебу — немислимо".

Но оказалось, что мыслимо. Главное — не зависеть от заграницы по вооружению, остальное — приложится... Бухарин отказался так рассуждать и поэтому стал понастоящему опасен для партократии. Никакие терминологические ухищрения не могут этой опасности скрыть. Бухарин может сколько угодно раз повторять, что "диктатуре пролетариата" не страшны рыночные отношения, ибо "командные высоты" в промышленности и в государственной политике остаются "за пролетариатом". Он может мобилизовать все свое красноречие и, отбивая нападки марксистских книжников и ортодоксов от Троцкого до Шляпникова, доказывать снова и снова, что "кулак" не опасен, покуда власть в руках "у рабочих".

Но он не в состоянии никакими словесными ухищрениями заслонить от борющейся за сохранение своего всевластия партии следующего не поминаемого им факта (а может быть, он и сам его не понимает): свободные экономические отношения предполагают за собой свободных людей. А свободы диктатура не может никому дать, не перестав при этом быть диктатурой. И Сталину это настолько ясно, что его слова поистине, "как пудовые гири, верны"* , а слова Бухарина летят по ветру сухими листьями. Если речь идет и на самом деле о свободе, а не о той временной поблажке народу, которой был НЭП для Ленина, то свобода и конец диктатуры — синонимы.

* Сталин, кстати, проводит очень точную параллель в этом смысле между борьбой буржуазии за свои экономические и политические права в 17—19 веках и крестьянскими восстаниями в СССР.

Бухарин хочет соединить несоединимое. И партии, и многим вне — и антипартийным группам, обсуждающим с разных позиций программу Бухарина, это ясно. Бухарин же прячет голову под крыло, хотя мысль за мыслью, слово за словом влекут его в области, для коммуниста заказанные.

Страшными для коммунистической диктатуры эти повороты бухаринской мысли бесспорно были: в этот критический момент столь категорическая поддержка "правыми" набирающего силу крестьянства грозила партократии многими бедами. Но эти идеи Бухарина не были вариантом партийной мысли, альтернативной сталинской. Вопреки представлениям тех, кто сейчас хотел бы видеть в Бухарине предтечу "демократического социализма", все то, что в его программе 1928 года можно назвать демократическим, было для партии гибельным...

(Окончание в следующем номере).



*Петр ВАЙЛЬ,
Александр ГЕНИС*

ВСЕЛЕННАЯ БЕЗ МОЗЖЕЧКА

Зиновьев и мениппея

ВНЕ ШКОЛ И НАПРАВЛЕНИЙ

"Зияющие высоты" зияют и высятся, и торчат бельмом и костью, раздражая всякого человека, имеющего склонность к порядку и классификации. И не зря, надо думать, так часто его имя вроде как забывают назвать, говоря о современной русской литературе — точнее, забывают, перечисляя привычный ряд имен, потом спохватываясь: ах да, Зиновьев ведь! И дальше — искупая срам забывчивости, впадая в раж эпитетов и восклицательных знаков. Отчасти дело, видимо, в недавности появления Зиновьева, в том, что к нему не привыкли; но главное — к нему и не привыкнут еще долго. Он как-то остается вне поля зрения, каждый раз требуя специального усилия даже для простого называния.

Всегда необходима цепочка, некая шеренга — по школам, направлениям, тенденциям, стилю — и глядишь, заиграло имя

в окружении товарищей, встало на положенное место. Короче, необходимо то, чем занимается история литературы. В крайних случаях годятся аналогии другого порядка — внелитературные: скажем, интеллигентская скороговорка Пастернак-мандельштамцветаевавахматова, или Даниэль, неизбежно — до конца жизни и дольше — стоящий рядом с Синявским.

Всего этого у Зиновьева и его книг — нет. Сблизить его удастся лишь с теми, у кого не дрогнула бы рука, попадись он им на мушку: с Бабаевским, написавшим "Кавалера Золотой Звезды", с автором "Счастья" Павленко, с творцом "Стряпух" Софроновым и другими заслуженно забытыми писателями. После них, творивших в чистоте и легком дыхании пятидесятих годов, только он, Зиновьев, сумел взглянуть на советскую власть и советскую действительность такими же ясными глазами.

Для Зиновьева и Бабаевского страна победившего социализма — несомненная данность, отправная точка всех дальнейших рассуждений, описаний, событий. Постулаты: революция победила, советская власть существует как строй, как добровольно принятая идеология большинства. Инакомыслящие и вправду мыслят иначе, как тот рекрут, который единственный во всей роте шагал в ногу.

Благодаря такому взгляду на советскую власть Зиновьев выпадает из ряда несоветской литературы, если попробовать предложить грубую классификацию по признаку отношения к советской власти.

1. Обличительно-лагерная — Шаламов, Евг. Гинзбург, Марченко — перечень преступлений, мартиролог.

2. Мемуарно-аналитическая — Н. Мандельштам, Копелев, Федосеев — осмысление советской власти как разрушительной силы на материале собственной биографии.

3. Художественная — Синявский, Владимов, Войнович, Ерофеев — литература вымысла как орудие познания, решающая традиционный конфликт литературы и государства на новом материале.

4. Солженицын — советская власть как насилие над русским народом; само по себе явление Солженицына, сравни-

мое по величине с явлением советской власти, есть некая альтернатива ей.

Зиновьев не попадает никуда. Для него единственного не стоит вопрос: проблематично ли существование советской власти? Он начинает там, где заканчивают другие. Для него советская власть — печка, от которой надо танцевать, а не простукивать кладку. Немцы с жидами тут ни при чем, степень виновности латышей и венгров тоже не беспокоит его — то есть, все это вопросы, возможно, и важные, и интересные, но не для Зиновьева. Для него важно то, что коммунизм такая же законная социально-экономическая формация, как феодализм или рабовладельческое общество. Более того, как некогда Гегель — капитализм, он считает коммунизм очередным и конечным этапом эволюции.

Зиновьев утверждает: "...Законы бытия — явление универсальное, они везде одинаковы. Им все равно, где становиться в позы, кривляться и гримасничать. Но Советский Союз им на редкость пришелся по душе — они здесь оказались полновластными хозяевами и буйствовали без всяких ограничений, изобретенных западной цивилизацией и раздавленных в зародыше в результате революции"* . Все основные положения марксизма-ленинизма реализовались — не потому, что оказались правильными, а потому, что по ним живут сотни миллионов людей. Реализация марксизма ведет с неизбежностью к реализации социальных законов по Зиновьеву. Марксизм создает идеальные условия, питательную среду для развития их. "Основу для них (социальных законов) образует исторически сложившееся и постоянно воспроизводящееся стремление людей и групп людей к самосохранению и улучшению условий своего существования. Примеры таких правил: меньше дать и больше взять; меньше риска и больше выгоды; меньше ответственности и больше почета; меньше зависимости от других; больше зависимости других от себя и т.д."***

Советский социализм создает формы общественного бы-

* А. Зиновьев. Выступление по радио "Свобода" ("Русская мысль" № 3232 от 30 ноября 1978 года).

**А. Зиновьев. "Зияющие высоты", "L'Aee D'Homme", стр. 38.

тия, ведущие к отрицанию таких наносов цивилизации, как право, мораль, религия и пр., тем самым — говорит Зиновьев — являя собой истинное светлое будущее человечества, которому так долго мешали жить свободно.

"Зияющие высоты" есть синкретическое, художественно-научное исследование. Это — художественная модель действия социальных законов в их чистоте и научный анализ этой модели.

Как художник и мыслитель Зиновьев открывает новый этап в идеологическом противостоянии советской власти. Это общество надо изучать, чтобы найти ему альтернативу, иначе будущее мира — страшно. Только знание может уравнять силы. Сейчас о равновесии говорить не приходится: "...Один из самых больших современных писателей, с точки зрения чистой литературы, быть может, самый большой среди всех... — это Зиновьев. Он констатирует с полным основанием, что западная философия, западный гуманизм, христианство капитулировали перед советским марксизмом. Не только католицизм капитулировал, но также гуманизм и экзистенциализм и все основы жизни, какие у нас были..."*

Новизна зиновьевского замысла определила необычность литературную. Характеристика этой исключительности позволит определить произведение Зиновьева как новый литературный этап.

Наша задача сейчас — не анализ конкретной зиновьевской книги или книг. Сперва надо найти инструментарий для анализа, определить нужный литературоведческий аппарат. Наметьте круг проблем, найти корни, место в истории литературы.

Как социальный мыслитель Зиновьев сомнений не вызывает. То, что он не писатель — воспринимается сразу. То, что писатель — погодя. Но именно безусловная принадлежность "Зияющих высот" к художественной литературе позволяет оценить книгу Зиновьева как революционный шаг в современной русской литературе.

* Эжен Ионеско в интервью "Русской мысли" (№ 3231 от 23 ноября 1978 г.).

ВЕРГИЛИЙ И АПУЛЕЙ, СОЛЖЕНИЦЫН И ЗИНОВЬЕВ...

Чем отличается "Нос" от "Героя нашего времени"? Тут и начинается великая неразбериха. Написанные в одно время, книги совсем непохожи. А ведь должны быть похожи. Одна эпоха. Одни условия. Одна литература. Разницу между Гоголем и Лермонтовым все ощущают интуитивно. С первой строки. Но в чем она?

Первое, что говорят, прочитав Зиновьева: это ни на что не похоже! Второе: это Рабле, Свифт, Вольтер... Неистребимая тяга вытянуть хвостик из литературной древности толкает читателя на поиски аналогий. Тяга эта легко удовлетворяется, но мало что может объясниться перечнем предшественников. Найти Зиновьеву место в традиционно запутанной картине литературного процесса трудно. Между тем, через всю историю мировой литературы проходит такое же легко ощутимое, но трудно объяснимое членение. Всегда были писатели, воплощающие представления о своей эпохе, знамена времени — Гомер, Софокл, Бокаччо, Бальзак, Толстой, Хемингуэй. Благодаря им мы знаем, что думал и чувствовал античный грек, человек Ренессанса, буржуа нового времени. Они находили закономерности своей эпохи, вскрывали пружины общественного устройства демократий, тираний и опять демократий. По ним строится классическая по своей простоте и ясности обычная история литературы. И всегда рядом с ними — а часто и пародийными двойниками — Гесиод, Лукиан, Рабле, Свифт, Гоголь, Достоевский, Булгаков, Зиновьев. И как-то сразу ощущается разница между двумя списками титанов мировой словесности.

При бедности литературоведения точными критериями приходится положиться на это глубоко ненаучное ощущение, интуитивно замечаемую разницу. Пусть точка будет в некоторой степени произвольной.

Итак, два русла литературы. Одно рождает концепцию человека социального: индивидуум вырастает в обществе.

Человек мыслит, чувствует и поступает по законам своего времени. Личность воспроизводит этико-культурный комплекс своей эпохи. Антигона хоронит брата и расплачивается за выполнение социальной нормы жизнью. Сид ставит долг превыше чувства и выполняет основную заповедь кодекса чести. Растиньяк строит карьеру и являет собой образец буржуазного социального закона. Короче, конфликт лежит в сфере конкретно-исторических условий. Анализ общества неразрывно связан с анализом личности. Вернее, индивидуальное становится заместителем общественного. Для такой литературы характерно представление о человеке как о *tabula rasa*, на которую общество заносит свои инструкции. Крайний пример — "натуральная школа". Художник рассматривает общество как структуру замкнутую, единичную, законченную. Его мир имеет границы во времени: история ведет человечество от нуля до существующего момента. Не только герои, но и автор находится внутри структуры той общественно-экономической формации, к которой он сам принадлежит. Критерии художника находятся в соответствии с критериями общества. Конечно, это не значит, что он согласен с иерархией ценностей. Нет, обычно он против критериев, навязанных ему обществом. Но его протест неразрывно связан с системой "хорошее-плохое", существующей в данную эпоху. Герои Корнеля и Расина по-разному решают проблему долга и чувства, но современниками и соседями по классицизму их делает то, что они решали эту проблему в соответствии с этикой XVII века.

Эстетика литературы этого русла дала нам четкую систему жанра — сагу, песнь, оду, роман, трагедию. Систему классических тропов. Национальные языки получали в образцах этой литературы классическую завершенность. И расцвела эта литература в эпохи, наиболее ярко проявлявшие свою общественную сущность: Периклова Греция, Рим Августа, абсолютистская Франция, викторианская Англия. Основной путь мировой литературы лежит в этом русле — во всяком случае, по нему строятся истории мировой литературы.

Другое русло существовало всегда. Начиная с фольклора.

"Другая" литература всегда сопутствовала "обычной" и в период шедевров оказывалась незамеченной и оставалась забытой. В кризисы давала свои шедевры, иногда заменяла собой главное русло, но вновь уходила с поверхности с приходом сильного государства и господствующей эстетики. "Вторая" не могла существовать в одиночестве, ибо жила паразитом на теле "первой". Она использовала "чужие" эстетические системы, пародируя, искажая до неузнаваемости образец, рождала свою, часто антихудожественную структуру. Гомер написал "Илиаду", Гесиод — "Войну мышей и лягушек". Вергилий "Энеиду" — Апулей "Золотого осла". Корнель "Сида" — Вольтер "Кандида". Толстой "Войну и мир" — Щедрин "Историю одного города". Шолохов "Тихий Дон" — Булгаков "Мастера и Маргариту". Солженицын "Раковый корпус" — Зиновьев "Зияющие высоты"...

Но это не значит, что литература делится на два этажа — первый и полуподвальный. Она развивается в двух направлениях, и каждое из них исходит из разных потребностей человеческой культуры и разных концепций личности и общества.

Если "первая" исходила из предпосылки: человека обуславливает общество — и строила концепцию личности как *Homo socialis*, то "вторая" — просто как *Homo*.

Художник из "второй" представляет историю статичной коллекции событий. Общество измеряется величинами скалярными, а не векторными. Личность принципиально не меняется, подчиняясь лишь своим имманентным законам развития. Человек — существо, обладающее набором свойств, полученных им в генетическом наследстве как единицы вида (или данных Богом — в зависимости от взглядов писателя). Общество — арена борьбы воли каждого индивидуума со стихийно (или организовано) слагающимся социальным этикетом. Естественная натура и искусственная структура. Кто кого? Вот конфликт, характерный для "второй" литературы.

ЛИТЕРАТУРА ХАОСА И УМИРАНИЯ

Если литература генерального русла давным-давно стала объектом изучения и поклонения, то "вторая" литература во все времена испытывала приливы восхищения и отрицания. Суть ее не так легко поддается анализу. Разнообразные формы ее архитектуры не дают ключа к построению четкой теоретической модели. Нет даже термина, которым можно назвать это единство. Хотя есть один, которым уместно воспользоваться. Учение о схожих явлениях создал М.М. Бахтин. Это — теория мениппеи. Остановимся на основных ее моментах.

Мениппея появилась в поздней античности. Тогда, в безумном хаосе умирающей культуры, и появился в литературе новый жанр, названный по имени его автора менипповой сатирой*. Формальная новизна его заключалась в соединении стихов и прозы в одном произведении, а содержательная — в смешении сократического диалога платоновского "Пира" с площадной бранью Аристофана, в гротескном симбиозе отточенной античной философии с этикой развратника и проститутки. Тогда и появились первые замечательные образцы мениппеи — "Сатирикон" Петрония, "Золотой осел" Апулея, "Разговор мертвых" Лукиана.

Жанр этот оказался необычайно подходящим для эпохи величайшей этической и эстетической смуты. Мир, в котором все ценности менялись знаками, получил оружие для познания самого себя. Ибо мениппея — это литература, которую интересует один вопрос: для чего живет человек. Не как, а зачем? Человек вообще — без родины, без религии, без истории. Этот жанр создает свой мир, который мало заботится о схожести с настоящим. В этом мире своя система ценностей, свои условия игры, игры в вопросы и ответы. Но это вопросы последние, которые задают себе люди у крышки гроба.

Бахтин, выделяя мениппею из множества жанров античной эпохи, относит к ней и Сервантеса, и Рабле, и Гоголя, и Досто-

* Менипп жил в III веке до Р. Х., но золотой период менипповой сатиры приходится на начало нашей эры.

евского. В общепризнанных шедеврах и забытых манускриптах он находил то, что отличает литературу (условно говоря, жизнеподобную) от литературы "гротесковой".

Мениппеиная литература осознает свое качественное отличие в понимании своего предмета — человека. Ее герой — это абстрактная личность, аналог фольклорного-мудреца, которая выражает идею (правду). Этим и ограничивается функция человека в мениппейном произведении. Герой-мудрец подвергается испытаниям, но на самом деле подвергается испытанию его правда. Сам он лишен своего социального, культурного, исторического одеяния — гол и нищ. Единственное его достоинство — идея.

Литературой, в отличие от философии, мениппею делает сюжет. Чем больше испытывается правда (идея), тем яснее становится ее абсолютная сущность. А материалом, испытательным полигоном для нее служит мир. История правды и ее носителя в мире — это сюжет мениппеиной литературы.

Естественно, что мир в мениппеиной литературе понимается иначе, чем в литературе "обычной". Мир как целое, космос. Он включает в себя все, и в качестве такового бесконечные варианты своего существования. То, что воспроизводится в конкретном литературном произведении, есть лишь реальное воплощение мира.

Мениппеиная литература с самого начала отрицает идею творчества как отражения, будь то зеркало плоское (реализм), вогнутое (реакционный романтизм) или выпуклое (прогрессивный романтизм) — оно отражает действительность. Вместо отражения она предлагает творение мира — вернее, восстановление целостного мира путем поиска истинной идеи о нем. Не претендуя на правдоподобное изображение жизни, мениппеиная литература творит условную ее модель, своеобразный способ постижения жизни.

Человек в такой литературе не подлежит "обработке" средой — он как часть универсума вечен, неизменен и бесконечен. Он говорящая часть мира. Конфликт мениппеиного героя с этикетом — нравственным, политическим, религиозным — заложен в самом определении человека как субстан-

ции бесконечной, а значит, органически неспособной подчиниться ограничению в чем-либо. Конфликт этот трагичен. Сам человек создает общество, воплощая свое идеологическое слово о модели мира. А создав, приходит в неизбежное столкновение с бесконечностью мира, а следовательно, и его идеологическим постижением.

Мениппейный художник, оперируя таким конфликтом, не может не выйти за границы той системы, в которой он творит. Следовательно, мениппейная литература не может опираться на те критерии, которые предлагает ей современная эпоха.

Возможно, что, встав на такую точку зрения, мы придем к ответу и на вопрос об отличии Гоголя от Лермонтова. Гоголь просто мыслит в других категориях, принципиально отличных от критериев Лермонтова.

Выход за пределы данных общественных систем легче в эпохи кризисов господствующих идеологий, когда брешь между постулированным миром и его инвариантами становится шире. Поэтому мениппейные шедевры создаются в эпохи крушения мировых мировоззренческих систем — античности, христианства, коммунизма.

Мениппейная литература существует только на общенародной фольклорной почве. Ей присущ мифологический взгляд на мир как на целостность и карнавальное осознание его бесконечной текучести.

Иная мировоззренческая установка создает и свою языковую систему. Мениппейная литература оперирует жанрами и тропами, лежащими на периферии литературы классической. Фантастика, преувеличение, гротеск — для нее способ существования. Все, что выходит за рамки заурядного, характерного, позволяет осмыслить мир как незавершенное явление. Социальная утопия становится орудием анализа. А пародия — зеркалом (все-таки) данного общества. Мениппейная литература игнорирует категорию времени, ибо основы мира не поддаются временным изменениям. Значит, истина лежит в постижении абсолютного и несуществующего в реальной истории прамира, а не его последующих изводов.

ПРИГОВОР У ГРОБОВОЙ ДОСКИ

Мениппейная традиция в русской литературе никогда не исчезала вовсе, но в эпоху творчества критического реализма затмевалась титанами российской словесности. В советскую эпоху она дала свой ярчайший образец в "Мастере и Маргарите" Булгакова. В послесталинские времена добротный реализм сразу же бросился отвоевывать позиции у неоклассицизма Софронова и Бабаевского. И только в самое последнее время появилось произведение, возвращающееся к мениппейному руслу. Возможным основателем новой мощной традиции и стал Александр Зиновьев.

В поисках новых форм воплощения своей модели действительности Зиновьев пошел по давным-давно заросшей тропе синкретического сознания. Как эмбрион повторяет эволюционные ходы, так "Зияющие высоты" — историю литературы. Симпозионы Платона, аттическую комедию, карнавальная роман, просветительские трактаты... Синкретизм же заключается в том, что он соединил два теоретически несоединяемых способа познания: художественный и научный. Очевидный эклектизм формы, демонстративное отсутствие композиции поражает, тем не менее, отчетливым литературным единством. Объясняет это мениппейный характер сюжета: история самопознания общества.

Главная мысль книги: коммунизм — естественная форма социальной организации человечества. В конечном счете, человеческим особям свойственно жить при коммунизме. Эта идея проходит искус научных теорий (трактат Шизофреника, главы о крысах) и художественных обобщений (творчество Мазилы). Как и полагается в мениппее, — герои книги мудрецы, лишённые индивидуальных характеристик. Они марионетки, выполняющие функции развития главной идеи.

Эстетика парадокса, которая постулирована уже в заглавии, обслуживает карнавализованную модель мира: Вселенная без мозжечка. Отсутствие иерархии, вернее, множественность иерархий — по уму, по чинам, по месту — предполагает аморфную конструкцию книги. По сути дела, это энциклопедия

дия человеческой мысли о человечестве. А в качестве таковой она включает в себя любой материал.

Настойчивое отнесение "Зияющих высот" к категории сатиры на человечество, а не на СССР, вызывает вопрос об актуальности, злободневности книги. А как же быть с Заибанами, Хряками, когда в каждом из них легко узнается прототип? Но противоречия здесь нет. Мениппее всегда свойственна публицистическая злободневность. Ведь она рождается на теле господствующей идеологии как отрицание ее. Принцип "от противного" — вот конструктивный принцип ее построения. Но, отрицая определенное мировоззрение, мениппея каждый раз доходит до изначальной сути мира и таким образом переходит из категории временной в вечную.

Парадоксальным образом книга Зиновьева, открывая новую сферу литературы, сама же ее закрывает. Зиновьев отвечает на все "последние" вопросы, которые задает себе мир у гробовой доски. Ответ его звучит приговором: человечество пришло к своему идеалу, то есть к воплощению абсолютных человеческих, а следовательно, и социальных законов. Торжество коммунизма есть трагический результат приключения правды. К зиновьевской модели мира добавить больше нечего. Акт идеологического самопознания общества и человеческой природы завершен. Итог подбит. Надежды иссякли. Но русская мениппейная литература, воскрешенная Зиновьевым, становится залогом новых приключений правды в мире, которые, наверное, дадут и новые — иные — ответы на проклятые вопросы, мучащие человечество.

**ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА ЕДИНСТВЕННУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ
ГАЗЕТУ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ**

НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО
под редакцией АНДРЕЯ СЕДЫХ
69 год издания

Подписная цена на 1 год 70 долларов
Воскресное издание только 35 долларов

Воздушной почтой ежедневное и воскресное
издание 180 долларов.

Чеки выписывать на имя:
"ИМОВОУЕ РУССКОУЕ СЛОВО"
и направлять по адресу:
243 WEST 56 STREET
NEW YORK, N. Y. 10019, USA

*В Новом Русском Слове сотрудничают
лучшие литературные силы эмиграции.
Газета имеет собственных корреспондентов
в Иерусалиме и Тель-Авиве.*

ЕВРЕЙСКИЙ СТЕРЕОТИП И ПЕРЕВЕРНУТАЯ ПИРАМИДА

*Дискуссии о социальной структуре еврейского народа
в мире и в Израиле.*

Д-р Нахум ГРОСС (Иерусалимский университет);
КТО ОНИ, ЕВРЕЙСКИЕ КАПИТАЛИСТЫ?

— Известно, что "еврейский экономический тип" рассматривается как капиталистический, так ли это?

— Нет сомнения в том, что евреи сыграли свою роль в развитии капитализма, и я это говорю не в укор им, а отмечаю как заслугу. Возможно, что рационализм еврея способствовал этому, ибо что характеризует капиталистическую экономику? Это — рациональность и эффективность. Так вот применение разума в ведении хозяйства было присуще евреям. Они помогали развитию капитализма в качестве агентов, директоров и т.п. Но сами они не были, в большинстве случаев, крупными капиталистами. Я бы сказал, что еврей больше преуспел в области знаний, профессионализма, интеллекта, чем в области капитала.

— Вы затронули один из мифов насчет еврейского "экономического типа". Не можете ли вы развить эту тему?

— Экономическое поведение еврея имеет более близкое отношение к капиталистическим формам хозяйства, хотя это можно отнести и к другим народам. Люди, принадлежащие к национальному меньшинству, должны быть всегда готовы направить свои шаги в новые области экономической жизни. Поэтому в Европе, на заре капитализма, евреи выполняли центральную функцию в экономическом развитии. Во многих случаях они занимали посты министров финансов в княжествах и малых государствах. Что же касается Франции и Англии, то здесь изгнание евреев обуславливалось развитием соответствующих коммерческих слоев в среде самих этих народов.

— Каков характерный тип "еврейского капиталиста" с начала новой эры?

— В эту эпоху в Центральной Европе, а также в некоторых странах Восточной Европы распространенным типом был еврейский бродячий торговец, который двигал вперед производство, основанное на обмене.

— Откуда же отрицательный стереотип еврейского торговца и финансиста в новое время?

— Это вытекает частично из отрицательного отношения к этим профессиям, но также из того факта, что евреи, не получая хода в других областях хозяйства, вынуждены были заниматься торговлей и ростовщичеством. И все же большинство было занято в ремеслах и на разного рода физической работе, хотя евреи, приходившие из более развитых стран, выполняли важные функции в торговле. В связи с этим следует отметить, что есть некоторые области экономической деятельности, которые людям кажутся бесполезными. Нельзя отрицать, что бывают ситуации, которые используются торговцами в свою пользу, но ведь и в производстве мы наблюдали использование монополий в интересах промышленников. Вообще же, евреи, которые развивали все виды торговли, благодаря своей инициативе, превратили ее в прибыльную отрасль хозяйства, а их денежные ссуды неоднократно стимулировали развитие производства. Естественно, когда денежные ссуды не шли на цели производства, то это ложилось бременем на хозяйство. Так создавалась почва для экономического антисемитизма.

— Примерно сто лет назад в Германии была издана книга "Евреи и преступность". В ней рассказывалось об участии евреев в различного рода преступлениях, а также о превращении идиша в "международный язык воров". Каковы основания для такого обвинения?

— Это трудный вопрос: отношение евреев к закону. Преследуемое меньшинство не может уважать закон общества, преследующего его. Особенно, когда это меньшинство располагает своей автономной системой законов и норм. В этих обстоятельствах появляется стремление обойти закон. В действительности же, наоборот: тяга евреев к моральным нормам очень высока. Вопрос только в том, имеют ли эти нормы автономный еврейский характер или распространяются на все общество.

— Другой распространенный миф касается еврейского стремления избегать физического труда. Есть ли у него основания?

— Один из самых лживых мифов состоит в том, что люди любят тяжелый труд. Между тем, именно стремление избавиться от тяжелой работы, стремление к высокому уровню жизни стало важнейшим фактором технологического прогресса, уменьшающего необходимость в тяжелом труде. Поэтому нельзя обвинить евреев в их стремлении достигнуть больших знаний и более высокой специализации. И если они сторонятся "черной работы", то это не столько из-за ее характера, сколько из-за низкого заработка.

— Что вы можете сказать относительно "современного еврея" в сельском хозяйстве?

— Количество евреев, занятых в земледелии, чрезвычайно мало, оно колеблется от половины до четырех процентов от общего их числа, занятых в экономике. Эта ситуация и породила идею "возвращения к земле", а также "переворота в социальной пирамиде". Однако дело в том, что идея "возвращения к земле", включая идею сионизма, распространилась тогда, когда она сама по себе превратилась в анахронизм. Идея эта потерпела крушение прежде всего потому, что общее развитие идет в противоположном направлении

в соответствии с тенденциями промышленной революции. Сельское хозяйство Израиля достигло международного уровня, но именно поэтому в нем может быть занято только десять процентов населения.

— Сионистская идеология много занималась "переворотом социальной пирамиды". И что же? Только двадцать пять процентов у нас занято в производстве, тогда как в Европе этот процент достигает пятидесяти. Может быть, мы потерпели поражение в деле социальной нормализации еврейского народа?

— Действительно, в развитых странах примерно половина населения занята в производстве, в Израиле же, наоборот, немногим более половины занято в сфере услуг. Возникает вопрос — не слишком ли это много? Я считаю, что это один из показателей того, что, к сожалению, наш уровень жизни выше, чем наша производственная мощность. И происходит это благодаря импорту капитала в разных видах. Известную роль играет и еврейская традиция, в которой производство никогда не занимало ведущей роли.

— Какие выводы напрашиваются из этого?

— Мы должны примириться с тем, что высокий процент иммигрантов всегда будет принадлежать к образованным слоям. Нет нужды ориентировать этих олим на овладение так называемыми "продуктивными" профессиями, а необходимо развивать производство, базирующееся на науке, развивать сферу услуг в области экспорта. Например, можно работу счетно-вычислительных машин направить на нужды внешнего рынка. То же с консультациями в инженерном и архитектурном деле или широко поставленной сетью лечебных заведений. По крайней мере, это будет соответствовать экономическому потенциалу нашей страны, не обладающей естественными ресурсами.

А. КАФКАФИ (кибуц Меоз Хаим):

ОПАСНОЕ ЗАТУШЕВЫВАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ

Оказывается, что еврейская апологетика еще очень живуча. И в еврейском государстве занимаются не сионистским вос-

питанием и трезвым анализом экономической деятельности евреев в галуте, а ее затушевыванием.

Антисемитизм рассматривал еврея как Шейлока и создавал мифы о еврейском мировом господстве, но эти мифы, к сожалению, были основаны не только на вымысле. Еврейские банкиры и евреи при дворцах не выполняли никакой пионерской функции в производстве, а лишь укрепляли свои позиции в мире денег. Трагедия еврея Зюса была связана с деятельностью, которую историк Дубнов изображает следующим образом: "Монополию продажи и, в некоторой мере, производства товаров передавали в аренду отдельным лицам... Назначения и различные посты тоже были делом купли-продажи". О Ротшильде слышали все — его возвышение не было связано с производством. Свои богатства накопил он торговлей пушечным мясом, займами государству и контрабандой золота. Так что еврейский ум и талант не использовались для увеличения производства.

Верно, что некоторые крупные капиталисты не были евреями, но большинство биржевых тузов на мировом рынке были евреями, и доминирующей была группа Ротшильда.

Конечно, вместо того, чтобы сломить эту мощь, уничтожили евреев, хотя в основном они не были богатыми. Вершители судеб мировой экономики в своем большинстве не были евреями, но это не устраняет самой проблемы. Господство евреев в экономике было фактом, несмотря на то, что большинство их не было к этому причастно и даже не имело от этого пользы.

Сионизм поставил своей задачей изменить это положение, но для этого необходимо, в первую очередь, видеть факты без всякой ретуши. Характерен подход д-ра Гросса к "мифу" о физическом труде, который вытесняется наукой. Если послушать д-ра Гросса, то получается, что евреи опередили все народы в этом отношении и нет никакой нужды в перевороте еврейской социальной пирамиды. Оказывается, что она представляет собой идеал, а не аномалию.

Пренебрежение ценностями сионизма доходит до того, что такого рода мысли находят место в журнале учителей, чтобы

отдалить еще больше учащуюся молодежь от труда и оправдать всякого рода карьеризм.

Нахум ГРОСС:

МАРКСИСТСКИЕ ДЕФИНИЦИИ

Прежде всего об апологетике. Нужно отказаться от апологетики, так же, как нужно отказаться от агитации просионистской и антисионистской. Обе основаны на извращении правды. Нет сомнения в том, что сионизм базируется на отрицании галута и стремится к концентрации еврейского народа в своей стране. Но это совсем не значит, что надо рассматривать всю еврейскую историю и действительность в отрицательном свете. И уж, наверное, нет необходимости безоговорочно следовать за некоторыми из первых адептов сионизма и принимать на веру все аргументы антисемитов как неопровержимую истину.

Следует рассматривать историю сбалансированно и помнить, что аргументы антисемитов совершенно не соответствуют действительному положению вещей. Мне кажется, что участие евреев в развитии капитализма следует оценивать с положительной точки зрения. Из этого не следует, что я готов игнорировать ту "цену", которую приходится платить за издержки капитализма, как например, монополия и спекуляция. Но и при любом другом общественном строе надо платить какую-то "цену" за прогресс. Игра же такими устаревшими понятиями, как перевернутая пирамида, только затушевывает суть дела.

Для того, чтобы в Израиле появились земледельцы и люди физического труда, понадобились большие идеологические и воспитательные усилия, но нет никакой нужды в превращении большинства в земледельцев и людей тяжелого физического труда.

Тут возникает вопрос определения производства. Я поражаюсь, что в семидесятых годах мы еще встречаемся с псевдо-марксистскими дефинициями, разделяющими экономику на

отрасли "производительные" и "непродуктивные" или даже паразитические. Мне кажется, работа учителей, врачей, поваров и шоферов не менее "производительна", чем работа фабричных рабочих. Всякий, кто развивает, прямо или косвенно, процесс обмена, содействует экономическому росту. Что же касается воспитания, то оно, по моему мнению, должно базироваться на правде.

А. КАФКАФИ: И ВСЕ-ТАКИ РЕВОЛЮЦИЯ

Доктор Гросс ставит мне в вину псевдомарксизм, но он в этом грешит, поскольку придерживается взгляда, по которому прогресс представляет собой автоматический и однозначный процесс. На этом основании он приходит к заключению, что, скажем, проникновение денежного капитала в деревню прогрессивно. Будто он сам не знает, что одним из препятствий развития индийской деревни является прослойка, снабжающая крестьян ссудами под проценты. Д-р Гросс знает лучше, чем я, что отнюдь не в глазах всех банкир является "положительным типом" и что постоянно происходило столкновение интересов индустриального капитала, связанного с расширением кредита и банковским домом Ротшильда, который сопротивлялся расширению этих кредитов.

Дискуссию между Зомбартом и Вебером нельзя считать завершенной и по сей день. Вебер ("Всеобщая экономическая история") изображал евреев в средние века и в начале новой эры как финансовое орудие в руках правительств, перекачивающее деньги из рук народа в руки властей путем давления и угроз.

В противоположность Гроссу, утверждающему, что частное предпринимательство всегда отличало еврейскую деятельность — Вебер говорит, что еврейский промышленник представляет собой явление сугубо современное и не еврейская буржуазия была тем фактором, который толкал общество к нынешнему капитализму.

И. Кац в своей книге "Традиция и кризис" убедительно до-

казывает, что прав был Вебер и что евреи содействовали формированию современного капитализма только косвенно.

Отношение евреев к различным общественным слоям было сугубо прагматичным, и этот крайний прагматизм был понят Зомбартом как еврейский "дух капитализма". Презрение к физическому труду и отрыв от процессов производства привели к тому, что участие евреев в рационализации процессов производства было незначительным. Будучи меньшинством, евреи начали использовать современный капитализм только после его возникновения. Евреи при дворце сошли со сцены, но на их место пришли другие, которые, не заложив основ капитализма, научились извлекать из него пользу.

Сионистский лозунг, призывавший перевернуть пирамиду, был принят лишь меньшинством, и только меньшинство в меньшинстве отнеслось к этому лозунгу и его осуществлению с достаточной серьезностью.

Однако и теперь жгучей потребностью нации является еврейский труд и его использование в сельскохозяйственном и промышленном производстве. Эта цель не будет достигнута при помощи свободного рынка и еврейской традиции, а только путем политических и воспитательных усилий, направленных на повышение материального и духовного статуса человека труда. Конечно, с абстрактной точки зрения экономической эффективности различие между производством и сферой услуг теряет свое значение. Но оно приобретает большое значение, когда мы спускаемся с высот экономико-математических абстракций на почву реальной жизни.

Борьба между двумя тенденциями — той, что продолжает еврейскую традицию "развития разума", свободной инициативы и между революционно-сионистской, которая на деле отрицает галут — продолжается и сегодня. Поэтому ложной является попытка представить эту борьбу устаревшей.

Израильское сельское хозяйство является продуктом, революционным продуктом опрокинутой пирамиды. И если эта борьба не будет продолжена, то еврейское сельское хозяйство исчезнет и вместо него будет развиваться другое хозяйство, основанное на эксплуатации арабского труда еврейскими эфенди.

Профессор Мильтон Фридман выразил это предельно ясно: "Мы должны отказаться от попытки изменить характер еврея, наделенного умом, способного финансиста и умеющего обходить неудобные законы". Фридман потешался над стремлением перевернуть пирамиду, но одна вещь в сионистской революции нашла в нем своего горячего сторонника, это — еврейская армия. Мильтон Фридман утверждает, что не должно быть места разговорам о дефиците в израильском платежном балансе, учитывая, что американские евреи и правительство США оплачивают этот дефицит. Первые платят за национальную гордость, второе — за нашу верность союзу, дающему возможность не посылать американских солдат на Ближний Восток. Таким образом, военные услуги оказываются эффективным источником еврейских доходов, как это было в Европе в новое время. Нет, стало быть, ничего плохого в продолжении еврейской традиции (о которой говорит д-р Гросс), с той лишь только разницей, что тогда торговали кровью неевреев.

"Чистая" экономика торжествует. Израиль поставляет "услуги" Америке и американскому еврейству, и так как нет разницы между сферой услуг и сферой производства, — баланс урановешивается, а история балансируется. Критику самих себя и требования к самим себе заменяет еврейский разум... и еврейский меч. Если бы это было только идеологической проблемой, то не стоило бы и спорить. Но сионизм никогда не был только идеологией, он был и есть жизненная необходимость. И если значительная часть еврейского народа не отвернется от хваленой еврейской традиции Мильтона Фридмана и Гросса, то не будет и сионизма.

Перевод с иврита С. Левковича.
Журнал "Сдемот" (израильский журнал учителей)

ЛЕВ ЛАРСКИЙ

МЕМУАРЫ

РОТНОГО ПРИДУРКА

(иллюстрации и оформление автора)

В ближайшее время выходит отдельной книгой в издательстве "Время и мы"

Книга выходит в пяти частях:

1. Взвейтесь, кастраты
2. Солдатская совесть
3. Саперная одиссея
4. Боец невидимого фронта
5. Бледная спирохета —
оружие врага

При предварительном заказе в редакции цена в Израиле — 72 лиры, за границей — 4. 50 доллара (в цену входит стоимость доставки и НДС).

Заказы и чеки высылать по адресу: Тель-Авив, Нахмани 62, редакция "Время и мы".



Белла ЕЗЕРСКАЯ

У РОСТРОПОВИЧА, В НЬЮ-ЙОРКЕ

Я увидела его в нью-йоркском Народном театре после вечера поэзии Андрея Вознесенского. Ростропович стоял у колонны и о чем-то громко и оживленно беседовал со своими спутниками. Было что-то непостижимое в его присутствии здесь — в центре Нью-Йорка, в этом демократическом молодежном театре, где зрителей после спектакля угощают сэндвичами и вином. Но самое удивительное было, пожалуй, то, что Ростропович органично вписывался в эту шумную студенческую обстановку и, видимо, отлично себя чувствовал. Его узнавали. Наиболее решительные подходили познакомиться, в его улыбке было что-то столь подкупающее и непосредственное, что я, преодолев робость, подошла тоже. Оказывается, Ростропович читал мои статьи в "Новом Русском Слове", они нравились ему, особенно, о Пушкине.

— Не правда ли, Пушкин здесь, на чужбине, еще дороже? — сказал Мстислав Леопольдович и добавил, понизив голос, — я обладаю бесценной реликвией — гвоздем от его гроба. Я вправил его в золотую цепь, и он всегда со мной, неизмен-

но. В моей жизни Пушкин играет почти мистическую роль.

Наше знакомство продолжилось несколько дней спустя в Линкольн Центре, где он дирижировал Девятой симфонией Шостаковича и симфонией "Манфред" Чайковского, и вечером этого же дня, 15 декабря 1978 года, в нью-йоркской квартире Ростроповича, где живут его дочери Ольга и Елена, студентки Джульярдской школы.

...Две совершенно одинаковые маленькие японские собачки встретили меня в коридоре пронзительным лаем. Дверь была распахнута, в квартире царил артистический беспорядок, девочки гремели молотками, прибывая картины, без конца звонил телефон, маэстро хлопотал на кухне, заваривая чай. Его патриархальный, домашний вид никак не вязался с мощной трагедией "Манфреда", все еще звучащей у меня в ушах. А потом, уютно расположившись за столом, мы пили чай с густым гречишным медом. И хотя на столе стоял магнитофон, беседа наша меньше всего напоминала целенаправленное интервью. Ростропович говорил страстно, взахлеб, словно не было сегодня трех часов этого нечеловеческого напряжения за дирижерским пультом; говорил так, точно спешил высказаться в последний раз.

С его разрешения, я передаю эту беседу почти в той же сумбурной непоследовательности, сохраняя, по возможности, стилистику устной речи, ибо, как говорил некогда Пушкин, "следовать мыслям великого человека — есть занятие самое увлекательное".

— Я вас умоляю, попробуйте этот мед, вы такой не ели, уверяю вас. Это монастырский мед, я его позавчера из монастыря привез. Если у вас когда-нибудь будет возможность, съездите туда. Это всего лишь в пяти часах езды от Нью-Йорка, на север. Называется Джорданвилл. Представляете, снег по колено, белейший. Сияют купола. Колокольный звон. И русская речь. Я ничего подобного не представлял. Русский, христианский монастырь и где — под Нью-Йорком. Это какое-то русское чудо! Кусочек Руси...

— Как Загорск?

— Нет, Загорск кажется еще современнее. Старцам по

восьмьдесят-девять лет, и каждый из них — ярчайшая индивидуальность. Весь городок — представляете! — был построен руками монахов. Все сделано ими, не был приглашен ни один рабочий. Купили кусок земли и начали обрабатывать его и строиться. Теперь у них огромное хозяйство, восемь тракторов, пасека, добротные дома, две изумительной красоты церкви, семинария. Съездите, обязательно. На меня это подействовало — просто невероятно. Только что вернулся, и уже снова тянет.

— А вы все-таки тоскуете по Родине. Как вам здесь?

— Мне здесь просто замечательно! Я не хочу рисоваться, сейчас модно тосковать. Дескать, какой же ты русский, если тебя не мучит ностальгия.

— Скажите, как есть.

— Хорошо, скажу, как на духу. Когда я уезжал, я ведь уезжал на два года — в командировку.

— Вы знали, что не вернетесь?

— Нет, никогда в жизни не думал. Я был уверен, что через два года обязательно вернусь. Я раньше за границей больше двух с половиной месяцев никогда не жил. И уже к концу первого месяца определял по солнцу, где восток. И когда я выходил из гостиницы гулять...

— Вы шли на восток?

— Только на восток! Мне казалось, что я на пять кварталов приближаюсь к дому. За границей я никогда на запад не шел. Поэтому отъезд на два года был для меня настолько болезненным, что я вам этого передать не могу. По ночам я, как мальчишка, плакал на кухне.

— Но вы могли и не ехать!

— Не мог! В том-то и дело, что не мог.

— Почему?

— Потому что к этому все велось. Это была организованная травля меня и Вишневской. Да что вам сказать — не успели мы подать заявление в ЦК, на имя Брежнева, с просьбой о выезде, как нам позвонили и сказали: "Вам разрешено, езжайте!" Буквально через пятнадцать минут, не успели мы с Галей вернуться с Новой площади, заместитель Фурцевой

Кухарский позвонил нам по телефону и просил прийти для уточнения формальностей. Он был очень любезен, когда говорил по телефону. Но стоило нам прийти, тон совершенно переменялся. Он сказал очень сухо: "Нам стало известно, что советское правительство не будет возражать против вашего отъезда" (там еще был второй заместитель Фурцевой — Попов). "Стало известно" — через пятнадцать минут!

— Сверхоперативно! А больше ни о чем с вами не говорил?

— Он спросил, почему мы уезжаем, чем недовольны. Вишневская ему ответила, что Ростропович хочет играть, дирижировать, выступать с лучшими советскими оркестрами. На это он возразил: "Да, но это не значит, что оркестры хотят с ним выступать". "Вот поэтому мы и уезжаем, — сказала Вишневская. — Поскольку нам известно, что в Нью-Йорке, Париже, Лондоне оркестры хотят с ним выступать!" И, знаете, эта реплика, что "оркестры не хотят выступать", она ведь была не случайна. Все было очень хорошо организовано. Систематически снимались записи — мои и Вишневской. Отменялись концерты. Циркулярные письма шли в филармонии — Черновицкую, Саратовскую с приказом не принимать меня с концертами. Они просто толкали меня на этот шаг.

— И все из-за Солженицына?

— Да, только. Все началось судьбой, как говорится, с того момента, как он у нас поселился. Его травили, преследовали — и тогда у меня не было выбора: я должен был сказать, с кем я и что я думаю по этому поводу. Может быть, если бы он не был нашим гостем, все сложилось бы иначе. Я не осуждаю людей, которые молчат — в конце концов, не каждый имеет мужество и силы для борьбы. Но этот человек, большой русский писатель, жил у меня в тяжелую для себя пору. Я должен был его защитить или выгнать, что мне, кстати, и предлагали сделать. Вплоть до того, что пригрозили конфисковать дачу. Я ответил: "Пожалуйста, забирайте!"

— Теперь я понимаю, что у вас не было выбора.

— Никакого. И все таки я, как мог, оттягивал момент отъезда. Мы подали заявление 29 марта 1974 года, а в мае должен был состояться конкурс имени Чайковского, где я

неизменно, в течение многих лет, был председателем жюри по виолончели. Я сказал тогда Фурцевой: "Может быть, мне еще провести конкурс, а потом уехать?" Она ответила: "Нет, лучше уезжайте сейчас". Кажется, яснее не скажешь. И все-таки за три дня до отъезда я предпринял последнюю, отчаянную попытку остаться. У меня был близкий друг по фамилии Кириллин — один из заместителей Косыгина. С ним я мог быть откровенен. Я сказал ему, что готов на все. Что готов поехать в Сибирь и создать там оркестр. Или преподавать в музыкальной школе. Я просил его передать мою просьбу советскому правительству. Я сказал ему, что не хочу уезжать, что, может, я еще пригожусь России.

— Жди, я тебе завтра дам ответ, — ответил Кириллин. Он приехал к нам на следующий день и сказал: "Уезжай". Всего одно слово.

— И после всего этого вы еще надеялись вернуться?

— Да, надеялся. Поэтому поначалу никаких заявлений не делал. Наоборот, на пресс-конференции заявил, что благодарен советскому правительству за то, что оно выпустило меня. Я рассчитывал, что обстановка вокруг меня начнет понемногу разряжаться, потому что главный-то "виновник" Солженицын был уже на Западе. Я и рассчитывал, что давление ослабнет и станет легче дышать. Кроме того, я полагал, что наши выступления на Западе, мои и Вишневской, вызовут благоприятный отклик на Родине. Им будет лестно, что нас так принимают. Иллюзии. Они не простили мне моей вины. Они никому ничего не прощают. Да что вам сказать — уже Солженицын был в Швейцарии, уже к нему собиралась жена с детьми — мы собрались на прощальную вечеринку. Наталья — Аля, как мы ее называли, — отозвала меня в сторону и одними губами спросила: "Что передать Саше? Ты уедешь?" Я ей так же тихо ответил: "Нет, никогда в жизни. Я останусь, что бы там ни было". Как сегодня помню, это было 5 марта, день смерти Сталина. А через две недели мы подали заявление. Если бы мне кто-нибудь сказал тогда...

— Как вы собирались в дорогу?

— Все оставил, абсолютно. Поехал налегке. Взял с собой

виолончель, собаку и два маленьких чемодана. Эти чемоданы досматривали на таможне полтора часа, перетряхивали, вывернули буквально наизнанку. Вытащили все мои медали, в том числе Лауреата Ленинской премии, Британского филармонического общества и так далее. Говорят: вывозу не подлежат. Помилуйте, отвечаю, какому вывозу, я ведь на два года еду, не навсегда. И потом: "Это же мои награды, мной заработанные". Нет, не разрешили. Медали эти я позже получил по дипломатическим каналам, но все равно, было очень унижительно.

— Таможенники знали, что вы не вернетесь, а вы — нет.

— А я не знал. Но они все-таки просчитались. Как они ни досматривали меня — я вывез нечто более ценное, чем то, что они у меня отняли. Я вывез целый музыкальный мир в своем сердце. Этого они, разумеется, не могли отнять у меня. Это и дает мне здесь ощущение полноты жизни.

— Как вам здесь, в Америке?

— Мне здесь просто замечательно! И меня совершенно не тянет домой, честное слово. Я, как собака, которую избили, не хочу возвращаться в то место, где меня избили. Жестоко избили, изломали всего. Я помню боль. А здесь я так интересно работаю, столько делаю, что там мне и мечтать не приходилось. Посудите сами, я вам назову только две цифры: за сорок семь лет я записал двадцать две пластинки, а за четыре с половиной года жизни здесь — сорок! Целая жизнь за четыре с половиной года. Две жизни... Я так наполненно живу, так интересно, что мне просто некогда скучать.

— Видитесь ли вы со своими бывшими коллегами?

— Это тоже очень любопытный вопрос. Каждый, кто приезжает на Запад — на гастроли или в командировку, — хочет со мной встретиться. И встречается! Но как они боятся! Боятся последствий встречи со мной, лишенцем. Бедняги, как мне их жаль.

— Ведь вот Вознесенский. Вы ведь тогда его не дождались, ушли. Почему?

— Да, я ушел нарочно. Он пригласил меня в ресторан со всей компанией, но я ушел, не дождавшись. Не хотел вредить

ему. У него сложное положение... Он старается быть честным...

— Вы думаете, что это возможно?

— У него очень трудная жизнь. Я знаю, я хлебнул.

— Он официально выпускаемый советский поэт, один из немногих. И единственный, издающийся в Америке.

— Очень трудно сказать, что сейчас происходит. Не выпускают тех, кто раньше свободно ездил за границу. Или вдруг начинают выпускать людей, которых раньше никогда не выпускали. А Вознесенский все время пробует, какой еще можно взять предел. Вы заметили — он сказал "как звук виолончельный" — и посмотрел на меня. А мысль-то стихотворения: "Не возвращайся!" Я-то это понял. Но он надеялся, что там не поймут. Так и играет в кошки-мышки. Знаете, я сам однажды сыграл в Министерстве культуры на непонимании. Речь шла о цикле Саши Черного "Пять сатир", на которые Шостакович написал музыку и посвятил ее Вишневецкой. Музыка хлесткая, злая, соответствующая тексту. Мы с Галей отрепетировали, а в Министерстве культуры пришли в ужас: "Вы с ума сошли!" А я говорю: "Простите, это написано в 1907 году". Конфуз был страшный.

— Вы сейчас дирижировали Девятой симфонией Шостаковича и симфонией "Манфред". Чайковский и Шостакович. Это ваши любимые композиторы?

— Да, но каждого я люблю по-своему. Чайковский дорог мне романтической приподнятостью, божественностью своей мелодики — особенно в характеристике чувства любви. Возьмите "Евгения Онегина", "Пиковую даму" или "Ромео и Джульетту", кстати, одну из моих самых больших личных удач. Ведь он буквально живописует эту любовь — так возвышенно, как ни один композитор мира. Ни Моцарт, ни Бетховен, ни Бах — никто не мог с ним сравниться в характеристике возвышенной, романтической любви.

— Тем более странно, ведь Чайковский, как известно, женской любви не знал.

— В том-то и дело. Женщина была для него настолько недоступна, настолько в мечтах, а не в реальной жизни, что

мне иногда кажется, что если бы его мечта вдруг осуществилась — его муза непременно бы пала...

— Парадоксально...

— Знаете, я не сам до этого додумался. Вишневецкая, великая певица и актриса и удивительная женщина, со всеми ее женскими инстинктами, мне однажды высказала эту мысль, которая меня поразила и которую я, кажется, навсегда запомнил. Вспоминая свое прошлое, я иногда думаю: какая бы сильная любовь ни была в моей жизни — мои мечты об этой любви запечатлевались еще ярче, чем сама любовь. Мои самые яркие любовные переживания относятся к поре отрочества, когда я был абсолютно невинен. Разумеется, эти мечты были чистой фантазией, но они доводили меня до сумасшествия. В детстве я был занят тем, что конструировал какие-то подземные убежища, специальные вертолеты и стартовые площадки для них с одной целью — красть женщин. Представляете? Невероятна в нас эта тяга к непознанному. Она-то и является могучим толчком для нашей фантазии.

— Но у Чайковского не было даже эпизода, от которого он мог бы оттолкнуться.

— Да, это так. Личный опыт ему заменяло чувство гармонии; он мог вдохновиться Джульеттой не как реальной женщиной, не как материальным образом, а как идеей вечной женственности. Он чувствовал совершенство ее фигуры, ее прекрасного лица — всего того, что немцы называли "вечно женственным началом". Он создавал свое божество в своей фантазии и при этом чувствовал себя намного возвышенней, чем тот, кто "пропустил" свое обожание через чувственный опыт.

— А Шостакович? Чем он был вам близок?

— С Шостаковичем я был связан многолетней дружбой, он был мне бесконечно дорог. Самые трагические минуты моей жизни — это минуты прощания с ним. Мне тяжело об этом говорить. Мы оба плакали. Весь в слезах, я сказал ему: "Я хотя бы запишу там все ваши симфонии". А он так трогательно и как-то по-детски попросил меня: "Не надо, Слава, начинайте с Четвертой", Шостакович был гений, и, как

всем гениальным людям, ему в высочайшей степени был свойствен инстинкт самосохранения. Я говорю не о биологическом инстинкте, присущем всему живому, а об инстинкте сохранения таланта.

— Как же он сохранял свой дар?

— Единственно возможным способом: он "откупался". Писал по заказу то, что от него требовала партия, — какую-нибудь "Кантату о лесах", а потом, для себя — Седьмую симфонию. Дорогой ценой он платил за право творить. Сколько ненаписанных шедевров он унес с собой в могилу! Сколько гениальных симфоний! Ведь никто не знает, сколько нам отпущено судьбой. Время гения принадлежит не только ему, оно принадлежит человечеству. И потому то, что советская власть сделала с Шостаковичем, я считаю преступлением против мировой культуры. Против человечества.

— В Америке вы имеете огромный успех. Как вам нравятся американские слушатели?

— О, это особый разговор: "американцы и музыка" В Америке достигнута настоящая массовость музыкального искусства — то, о чем в Советском Союзе только мечтают или в чем делают первые робкие попытки. Помню, я принимал участие в одной такой попытке — это было в Горьком, на стадионе. Меня подкатили на машине прямо к оркестру. (Правда, обратно пришлось бежать с виолончелью по гаревой дорожке, так что я взял стометровку первым среди виолончелистов. Впрочем, это обычная история на шефских концертах: туда с почетом привозят, обратно добирайся, как умеешь.) К чему я это говорю? В Америке такие концерты давно стали повседневностью. О чем еще мечтать? Воистину — "искусство принадлежит народу". В свой первый приезд в США я принял участие в таком концерте. А летом 1978 года выступал в Холливуд болл. Это огромная площадь, вмещающая двадцать тысяч людей. И знаете, что я понял? Что один оркестр, или, скажем так, одна исполнительская единица не в состоянии "обслужить" такое количество людей. Аппаратура не помогает — она усиливает только звук, но не эмоции. Каждому слушателю достается такая малая "кроха" твор-

чества каждого исполнителя, что об эмоциональном впечатлении и говорить не приходится. Это все равно, что слушать запись. Впечатление во сто раз слабее эффекта присутствия. Сиюминутного исполнения. Ведь каждый большой исполнитель является одновременно и сотворцом композитора. Да, мы исполнители, — сотворцы, хотя нам и даны отправные точки. Но, в отличие от композитора, мы творим на людях. Мы должны захватывать, волновать их. Исполнитель должен через музыку ввести слушателя в мир композитора. Он должен объяснить ему, почему композитор был печален, когда сочинял эту музыку. Или, наоборот, почему он был весел. Что он чувствовал в этот день, как выглядел, какое у него было настроение. Другими словами, я должен передать реальную жизнь, зашифрованную в музыкальных знаках. Я должен передать сиюминутное настроение, тончайшие нюансы чувств. Может ли это воспринять каждый из двадцати тысяч слушателей? Конечно, нет. И они это знают. Поэтому и приходят на концерты с надувными матрасами, шезлонгами, удобно располагаются на траве, жарят шашлыки, пьют вино. Музыка им не мешает. Напротив, она является неким фоном для приятного времяпрепровождения. Таким образом, массовое искусство, которое американцы считают своим высшим достижением, на деле работает против искусства. Я лично больше не буду принимать участие в таких массовых концертах. Я решительно против того, чтобы соединять пикник с серьезной музыкой. И когда мне говорят, что американцы любят Чайковского, я не могу ничего возразить, но все-таки я предпочитаю, чтобы они, слушая Чайковского, не жевали шашлыки.

— Кто из великих оказал самое большое влияние на вашу творческую судьбу?

— Пушкин и Чайковский. Если мне удастся соединить воедино эти два имени в своем творчестве, я счастлив. Помню, когда я в Париже, в Гранд-Опера, репетировал "Евгения Онегина", я испытывал необычайный душевный подъем. Однажды ночью, в четвертом часу, я возвращался с Арагоном после репетиции по ночному заснеженному Парижу.

Мы расстались, и он долго смотрел мне вслед. Потом он признался мне, что в эту минуту я в своей шубе, засыпанной снегом, напомнил ему Пушкина. Конечно, я понимаю, что дело не в фактическом сходстве, что это впечатление было навеяно музыкой Чайковского, стихами Пушкина, этой снежной, такой "русской" ночью — но все равно мне было приятно это мимолетное впечатление. Он даже небольшую поэму написал об этом, "Слава", и посвятил ее мне. Вот мы с вами говорили о погоне за неизведанным, за недостижимым. За идеалом. Так ведь и Пушкину это было свойственно в огромной степени.

— Конечно. Кстати, то, что он без конца менял женщин и ни на одной из них не мог остановиться, свидетельствует о том, что идеал недостижим. Уж на что идеальной красавицей была его жена Наталья Николаевна... Ни одна женщина в мире не могла бы удовлетворить его чувство обожания всех женщин — всегда. Вообще, если бы он остановился в своей вечной погоне, это уже не был бы Пушкин.

Мы рассмеялись этой очевидности, и я стала собираться. Только на улице я решила прочесть надпись, сделанную на конверте пластинки "Ромео и Джульетта", которую он мне подарил: "Не правда ли, дантовские и шекспировские сюжеты в русском воплощении гениального Чайковского начинают пахнуть ароматом Пушкина?"

"РУССКАЯ МЫСЛЬ"

Еженедельная газета "Русская Мысль" публикует широкий и объективный обзор мировой и советской политики и жизни в разных странах, помещает статьи на религиозные, философские, научные и литературные темы, пишет о достижениях культуры в эмиграции, сообщает о выставках, спектаклях, новых книгах и журналах.

С началом третьей эмиграции из Советского Союза "Русская Мысль" открыла свои страницы новым авторам, стала связующим печатным органом между диссидентами и живыми силами эмиграции. Газета систематически публикует документы Самиздата и свидетельства новейших эмигрантов, давая тем самым богатый материал социологам и историкам разных стран, интересующимся проблемами прошлого, настоящего и будущего России и Советского Союза.

Выходя в Париже, "Русская Мысль" откликается и на самые яркие и интересные события в "городе-светоче".

*"Русская Мысль" прибывает в Израиль авиапочтой.
Цена в розничной продаже — 6 лир. Газета продается
в магазинах русской книги и киосках страны.*



ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Пушкин — это Империя и Свобода.
Г. Федотов

В.С. ЯНОВСКИЙ

ПОЛЯ ЕЛИСЕЙСКИЕ

(из книги *ПАМЯТИ*)

17

Худое, моложавое лицо; густые византийские брови. Доцент с ленинской бородкою. Вкрадчивый, мягкий, угаривающий голос с дворянским "р". Общее впечатление уступчивости, деликатности, а в то же время, каждое слово, точно гвоздь: прибавает мысль — ясную, определенную, смелую.

В статьях Георгий Петрович был чересчур литературен, цветист и этим подчас раздражал, особенно незнакомых. Но если услышать стоящий за фразой голос с неровным дыханием (сердце, сердце!), мягкий, музыкальный и в то же время настойчивый, там, где дело касалось последних истин, то к произведениям Федотова прибавлялось как бы еще одно измерение. И независимо от того, соглашались ли мы с "лектором" или нет, у нас зарождалось какое-то горделивое, патриотическое чувство: какая-то великолепная смесь, новая и вполне знакомая — Россия и Европа! Такие люди, соединяющие музыкальную податливость с пророческим гневом, ненависть и любовь к родной истории, встречались, главным

образом, на той Руси, которая всегда чувствовала себя Европой. Печорин, Чаадаев, Герцен, может быть, Соловьев.

Кстати, Германия, несмотря на весь свой исторический блуд, не выдвинула ни одного крупного мыслителя, который бы отважился покаяться и изобличить свой общенародный грех, вскрыв основную национальную язву.

В Федотове внешне все было переменчиво, противоречиво и неустойчиво, все, кроме его вселенского православия и формально демократических убеждений. Соединение этих двух начал, вообще, несколько необычайное, создавало еще одно мнимое противоречие, отталкивающее многих возможных союзников (но и кое-кого из врагов привлекавшее).

В Париже тридцатых годов я часто встречался с Георгием Петровичем, почти ежевечерне. На собраниях "Круга" или правления "Круга" и "Внутреннего Круга", в Пореволюционном Клубе Ширинского-Шихматова и т.д.

Это был единственный современный религиозный философ из близко знакомых мне, который, в основном, признавал ответственность православия за Русскую историю. И с какой радостью он цеплялся за все новое, прекрасное, пускавшее ростки вокруг нас в эмиграции.

— Вот теперь, — вскрикивал он, — после матери Марии социальное дело вошло уже навсегда в православную церковь, и другим остается только его продолжать...

К разряду редких явлений относилась также исповедуемая Федотовым идея демократии. Впервые в русской мысли православие сопрягалось, в идеале, с формальной демократией, доказывая этим на деле, что нет никаких канонических причин обязательно цепляться за кесаря, наместника или главу.

Чем могло бы стать такое православие, свидетельствует тот факт, что в Париже тех лет почти все кинулись в лоно русской церкви. И не только равнодушные, коренные скептики, но и французские католики, русские — еврейского вероисповедания, даже воинствующие атеисты.

Принято говорить об особой ноте парижской литературы (или поэзии), но это явное недоразумение. Особая парижская нота наблюдалась и в философии и теологии, в полити-

ческой деятельности и в живописи, даже в шахматах. Весь дух был другой, и происходила на наших глазах чудесная метаморфоза. Латинская прививка к невскому максималистскому полудичку обернулась творческою удачей. В этом смысле о.Булгаков, мать Мария или Федотов не менее животворящи для будущей, новой, европейской России, чем наша молодая литература.

Белый французский хлеб и красное вино питали всех одинаково, а римское восприятие национальности как юридической принадлежности, без критерия расы или религии, оказалось настоящим откровением.

Георгий Петрович в этом творческом расцвете сыграл свою роль, может быть, именно благодаря своей внешней двойственности. Он стоял посередине между философией и теологией, между историей и поэзией, литературой и политикой, одинаково дорожа русским ранетом и бургундской грушею "дюшес", прошлым и будущим, бытом и бытием, ничем, в сущности, не желая поступиться в рамках европейского христианства.

Недаром Поплавский раз в виде упрека ему сказал:

— Вот вы, если бы это понадобилось, никак не согласились бы ради своих убеждений взорвать Шартрский собор!..

И сидевший тут же Мережковский обрадованно поддержал:

— Вот, вот, видите, в чем дело.

Не помню, что ответил Георгий Петрович, думаю, что он действительно не был способен взрывать готические соборы. И не обязательно по малодушию.

А во время испанской войны Георгий Петрович написал статью о Пассионарии, признавая за последней историческую правду. Это выражало тогда чувства большинства из нас.

Испанская кампания была поворотным пунктом в жизни многих европейцев. Мы очнулись от прекрасного религиозно-поэтического обморока. Гражданская война застучала безобразным кулаком по кровле нашего быта, и приходилось выбирать в союзники меньшее зло. Некоторые сразу уехали в Мадрид; другие все собирались туда. Кровно, идейно и тра-

диционно большинство из нас было связано с законным республиканским правительством. История повторялась: опять — ни Ленин, ни Колчак. Демократия еще раз профуфукала страну. А если вовремя ограничить свободу граждан, арестовать генералов и коммунистов с анархистами, железною рукой направить экономику, давая работу и хлеб населению, то, пожалуй, удастся еще спасти режим... Но что же тогда останется от демократии? В этом заключалась квадратура круга. "Христианство и демократия" — утверждал "Новый Град" Фондаминского и Федотова, и им вторил из Германии Степун. Но что это означает на практике? Где и когда такой режим осуществлялся? Если обязательно нужны полицейские и работники ассенизационного обоза, то не лучше их заводить автономно от Евангелия и Святой Троицы...

Статья Федотова о Пассионарии эмоционально отвечала на многие "проклятые" вопросы, примиряя со злейшими противоречиями. Многое кругом становилось если не яснее, то хотя бы приемлемее. Недаром один профессор православного института, где преподавал Георгий Петрович, некая светлая личность, потребовал исключения Федотова, "тайного масона и марксиста". Богословский институт поддерживался англиканскими филантропами и одернуть эту "светлую личность" оказалось делом не трудным. Но потасовка такого рода стоила Федотову много внутренних сил; впрочем, она же сблизила его с молодыми литераторами.

Фондаминский ежедневно затевал новое эмигрантское объединение, а идеологически его оформлять должен был все тот же бедный Георгий Петрович, вплоть до юбилейных спичей и поздравительных адресов. Приходилось часто удивляться, как его хватает на такой подвиг. Но душа заметно уставала от сплошных "банкетов" под опекою Ильи Исидорича. К тому же надо было жить и кормить семью, что тоже изматывало живую силу.

Летом Федотовы уезжали на дамских велосипедах к Луре и дальше, по долине реки, мимо рыцарских замков и средневековых церквей. Георгий Петрович обожал галльскую землю, ее импрессионистскую зелень и строгую готику, ее

белый хлеб и кисленькое вино, сыры и вспльчивых, горячих, но изумительно толковых французов, где в сутенере и проститутке звучит логика Паскаля и Декарта.

Бунин выпивал бокал Клико и залихватски клялся, что в Москве и шампанское лучше! А стерлядь, а икра, а Волга... За сим следовал весь кухмистерский вздор казака Крючкова.

Федотов знал величие французской истории. И не спорил, когда я доказывал, что культура началась вокруг Средиземного моря у народов с карими глазами. Но он всегда, с непоколебимым мягким упрямством, старался обратить наше внимание на ужасы революций латинского мира. Вопрос, была ли в Англии когда-либо революция, занимал нас тогда всерьез. Тема сводилась к одному: можно ли очеловечить похабный режим без братоубийственных мутаций?

18

Наступили роковые осенние дни 1938 года, кончившиеся после частичной мобилизации полным поражением в Мюнхене. В разных эмигрантских углах сразу зашевелились многочисленные аспиды, готовясь присоединиться к обозу Гитлера. Федотов, единственный в нашем кругу, был за Мюнхен. Этого мы долго не могли простить ему. Пассионария и Мюнхен; обе эти половинки одинаково важны для уразумения Федотова.

Рассуждения его приблизительно сводились к следующему: современная, глобальная война приведет к окончательной гибели старой неповторимой Европы, независимо от победы или поражения. Так что лучше отсиживаться за линией Мажино и продолжать молиться, строить соборы, писать стихи — пока есть еще малейшая возможность всем этим заниматься!

А мы возражали: "Даже если линия Мажино отвечает своему назначению, от затхлого воздуха разлагающихся рядом живых и мертвых трупов задохнется любое свободное творчество, иссякнет последняя вдохновенная молитва, потеряют убедительность лучшие архитектурные монументы".

Зимой того же года был создан наш "Внутренний Круг",

некий орден, которому надлежало конспиративно существовать и бороться в надвигающейся долгой ночи. И мы все единогласно высказались против кандидатуры Г. Федотова.

— Это же курам на смех! — вопил Фондаминский. — Вы С. Жабу принимаете, а Георгия Петровича забраковали. Это ведь курам на смех! — повторял он свое любимое выражение. - Вы разошлись с Федотовым по одному вопросу. Но Мюнхен миновал: это уже прошлое. Теперь возникают новые темы, где Георгий Петрович может оказаться впереди нас всех...

Действительно, получался анекдот. И Федотов с супругой были приглашены в наш "Внутренний Круг". Очень знаменательно для наших тогдашних настроений, что Е.Федотова (как я уже писал) на первом же организационном собрании резко осведомилась:

— Меня, главным образом, интересует, будем ли мы и здесь только болтать, или, может быть, начнем бросать бомбы?

Уже в Нью-Йорке к концу войны мне пришлось "экзаменовывать" Федотова. Тогда И. Манциарли, Елена Извольская, Лурье и я начали издавать "Третий Час", журнал экуменического и пореволюционного толка. В каждом номере, подчас на разных языках, мы печатали статьи Бердяева, а Федотова, бывшего здесь рядом, не приглашали даже на наши собрания, наказывая его за непримиримое отношение к Советскому Союзу — в пору Сталинграда!

Вспоминаю, как Федотов раз днем пришел к Извольской: мы с ней, по-видимому, должны были выяснить, подходит ли он для "Третьего Часа" — достаточно ли хорош!.. Федотов был уже очень болен, после очередного припадка говорил неровно, спадающим голосом и отпивал маленькими, быстрыми глотками красное вино, которым "Третий Час", верный старой парижской традиции, всегда угощал собравшихся. Невесело посмеиваясь, Федотов говорил:

— Вы меня не принимаете, а Казем-Бека печатаете...

И я услышал старое "курам на смех" Фондаминского.

Расставаясь, он с грустью, как бы подвел итоги беседы:

— Теперь между нами настоящих расхождений еще нет. Вы хотите разгрома немцев и торжества сил демократии, того же и я жажду. Наши расхождения начнутся на следующей день после победы.

Подобно Черчиллю, но значительно раньше, Федотов утверждал, что советскую Россию надо держать подальше от Европы, а Европу целиком временно заморозить, иначе все прогнившие части развалятся и не будет больше Европы! Я с ним спорил. Но теперь вынужден признать, что основная его интуиция была правильной. Вообще, всей своей правды о России, о ее истории, церкви, даже народе Федотов, по-видимому, не решался высказать.

— Россия должна надолго вернуться в Европу школьницей, младшей сестрою, или ее спеленают, отбросят на Восток, расчленят!

Так я понимал подчас его речи, и они мне казались бредом. Только в свете последних "китайских" ходов истории пророчества Георгия Петровича становятся полной реальностью. И никакие спутники луны здесь не помогут, как не помогли немцам Фау-1 и Фау-2. Погибает тот, кто борется против всего мира на два фронта.

19

Вся тяжесть идеологической борьбы в "Новом Граде" покоилась на плечах Федотова. И.И. Фондаминский был, главным образом, организатором, планировщиком. Георгий Петрович должен был лить живую воду в проложенные трубы.

Илья Исидорович считался у эсеров блестящим оратором, что вместе с красноречием Керенского тоже относится к загадкам эпохи. Мы слушали Фондаминского с улыбкою. Когда раз перед ответственным наступлением я посоветовал ему говорить покороче и отнюдь не больше сорока минут, он искренне удивился:

— Мне случалось говорить подряд четыре часа, и тоже все слушали, — застенчиво похвалялся он.

И он не врал, конечно. Солдаты на фронте перед летним наступлением пьянели от речей Керенского, а матросы носили на руках комиссара Черноморского флота Фондаминского. Затем Чхеидзе... Все тогда считались Жоресами русской революции. Наваждение? Глупость? Глупость отдельных людей или целой эпохи?

Мне было неловко слушать Керенского или Фондаминского, точно перед голым королем — вот, вот, народ догадается об этом. Оба они были эмоционально очень талантливы, но по-разному ограничены или просто неумны. Я всегда страдал при их выступлениях, с нетерпением дожидаясь конца, точно признавая и свою долю ответственности за этот детский лепет.

Павел Николаевич Милюков звучал совсем в другом ключе: нечто чужое, трехмерное, но практически устойчивое, защищенное, если не от урагана, то хотя бы от случайного дождя.

Фондаминский распылял свои силы, стремясь проникнуть в максимальное число организаций или кружков, чтобы повсюду рассказывать о русском гуманизме, о демократии, о великом интеллигентском ордене. Предполагалось, что если его или нас приглашают, то этим самым еще одна позиция завоевана — светлыми силами!

Я упорно указывал на то, что в сущности нет ни одного места, за пределами квартиры Фондаминского на 130 Авеню де Версай, где мы могли рассчитывать на 51 процент голосов. И это ставит под сомнение разумность нашей тактики. Кроме того, мы литераторы, и совершенно нелепо подвизаться в стольких кругах и кружках, не имея собственного журнала.

Фондаминский этого не понимал: к тому же создавать конкуренцию своим "Современным запискам" ему, разумеется, не хотелось. Будучи "профессиональным оптимистом", он неизменно повторял:

— Подождите, подождите, мы скоро завоюем "Современные записки".

Но меня поддержал Федотов; присоединилась и молодежь, главным образом, активный в келейных переговорах

Софиев. Не помню подробностей, но на очередном собрании правления Фондаминский заявил нам, что будет альманах — "Круг"!

По инициативе Георгия Петровича, мы начали регулярно собираться раз в месяц на агапы. В библиотеке Фондаминского расставлялись столы, накрытые скатертью, на них бутылки красного вина, сэндвичи, фрукты. Вместо обычного доклада "Круга" с прениями, только дружеская, непосредственная беседа за полночь. Минутами чудилось, действительно: любовь, Каритас, витает кругом и преображает... А время, между тем, приближалось паскудное. Многие из присутствующих уже были отмечены роком: мать Мария, Фондаминский, Вильде, Фельзен, Мандельштам... все одинаково и каждый по-своему.

Увы, другие, подобно Иуде, позвякивали новенькими сребрениками, обеспечив себе место в обозе Гитлера.

Когда я мысленно разглядываю все эти лица, одухотворенные предстоящими страданиями или отмеченные печатью Каина, меня поражает, главным образом, полное отсутствие сюрпризов в нашей среде. Все карты были давно на столе и открыты: в этом смысле игра велась почти честно.

Раз в неделю, кажется, по вторникам, Федотовы принимали у себя в "студии". Там, вокруг девиц, дочки Нины и ее подруг, басили срывающимися голосами семинаристы православной академии; заглядывали туда и монпарнасцы, часто Софиев.

Георгий Петрович вел себя подчеркнуто наставником и отцом, только на минутку позволяя себе увлечься разговором, сразу стихая и поблескивая загадочными, византийскими глазами, под гусеницами бровей.

Софиев там и романсы пел, и стихи декламировал, вел себя не то молодым офицером, не то студентом — вообще, пользовался успехом у дам. Благодаря ему и будущие батышки проникались тоже романтическими тенденциями. Бывала там молодая, хорошенькая женщина, мать двоих ребят, а в числе семинаристов являлся уже в монашеской рясе некто Ж. Он жадно мечтал о карьере иеромонаха и писал свою

диссертацию на тему монашества, сравнивая эту желанную дочь с невестой Господней из Песни Песней. И так, Ж. увлекся молодой матерью, и она сбежала от мужа. Но Ж. потом стал жертвою еще других соблазнов: он уехал в Англию, женился на дочке англиканского пастора и стал священником епископальной церкви.

Этой атмосфере молодежи и флирта хозяин не только не мешал, но даже каким-то эзотерическим путем способствовал...

Внешне Федотов со своей бородкою всегда выглядел профессором среднего возраста, серьезным мыслителем, публицистом. И одевался он совсем не романтически; даже вернее, скверно, неряшливо одевался. Новое платье мы все в Париже редко себе покупали. Главным местом снабжения являлся Блошиный рынок, где иногда попадались замечательные вещи из богатых и спортивных домов. Но Георгию Петровичу и это не подходило. А костюмы, которые ему дарили добродушные меценаты, были все как на подбор темные, скучные и, главное, не по мерке.

Вообще, я бы сказал, в нашей среде царил стиль добровольной бедности (или чего-то близкого к этому). Даже некоторые, имевшие деньги, как бы стыдились своей материальной обеспеченности. В том, что деньги — грех, никто в русском Париже не сомневался. Так, Фондаминский наконец появился в новеньком коверкотовом костюмчике и долго виновато объяснял:

— Друзья заставили заказать... Мне это совсем не нужно, но они говорят: "Стыдно вам щеголять в рубищах"!

Поплавский злословил: "Дай русскому интеллигенту пояс к брюкам, и он все-таки напялит еще помочи, ибо нет у него ни уважения, ни веры к собственному брюху".

Действительно, в летнюю жару, когда Федотов снимал пиджак, на нем красовались и пояс, и подтяжки. Но объяснялось это, главным образом, тем, что брюки были чужие, совсем не по мерке. В Нью-Йорке чуть ли не при первой нашей встрече Федотов у вешалки напялил на себя пальто с таким необъятным кашне, что все кругом только развели руками.

И вот, несмотря на свою подчеркнутую внешность пожилого профессора и неряшливую одежду, какие-то определенно сексуальные, податливые, убаюкивающие, женственные флюиды щедро истекали из Георгия Петровича с осязаемой силой. Есть такая русская линия эротизма — от Достоевского, Соловьева, Розанова... Тут древние боги уживаются с Византией, церковью и ветхим заветом. Вот такое магнетическое поле явно ощущалось вокруг Федотова.

Был это, в сущности, не совсем на своем месте человек, не сумевший или не отважившийся вполне выразить себя. Думаю, что Федотов вздыхал с огромным облегчением, когда оставался наконец наедине с книгой и стаканом неукусного чая.

Припоминаю, как однажды на Вест Сайд, в Нью-Йорке, к Федотову ввалились громоздкие носильщики, не то, чтобы увезти пианино, не то, чтобы его перетащить на другой этаж. Нина Федотова в молодости усиленно музицировала. Начались переговоры между дамами и черными атлетами. Какое-то формальности не были соблюдены, и возникали мелкие затруднения. В это время профессор, подхватив единым, несколько униженным движением и чай, и книгу, и полы халата вознамерился незаметно юркнуть к себе в комнату, но и дочь и жена тут же в один голос крикнули: "О, трус!" — чем обратили мое внимание на эту знаменательную сцену. В разных сочетаниях я еще несколько раз в жизни наблюдал такое его вихревое, "предательское" движение прочь, в самый разгар каких-то житейских, практических передраг. Это не было только трусостью: он отдавал себе отчет в своей полной деловой беспомощности.

20

Приближалась страшная осень 1939 года. Еще в августе лучшие экспонаты скандинавских блондинок наводняли Париж: такой жажды греха и продолжения жизни Монпарнас, по утверждению старожилов, давно не испытывал. Люксембургский сад изнемогал под тяжестью цветов и похоти.

Наконец, радио передало о дружеской встрече Сталина с Рибентропом в Москве. И вскоре в актуальности мы увидели, как поляки пускали свою конницу против тяжелых танков Круппа. Всадники, по экипировке похожие на ахтырских гусар, бросались на стальные башни, извергавшие огонь, и тут же превращались в дымящееся мясо. И только глупцы, типа Сталина и Гитлера, могли думать, что им удалось покончить с Польшей.

А первого сентября, кажется, в газетах мелькнула, наконец, энигматическая фраза: "Англия и Франция находятся в состоянии войны с Германией" — *dans un etat de guerre. Mobilisation generale.*

Скрещенные силуэты двух-трехцветных флажков на афишах: в который раз! Все двинулось и поплыло с ружьями на тесемках и без обойм, в голубых бумажных мундирах 1918 года. На забранном досками окне соседнего бистро надпись мелом: закрыто, *pour la duree.*

В Люксембургском саду бассейн, где плавали осенью жирные карпы. Эта игрушечная водная гладь, оказывается, может служить ориентиром в лунные ночи для вражеской авиации. (Правительство все предвидит!). Бассейн распорядились немедленно осушить: первая всенародная казнь рыб!

В кустах против Сената расположилась противоздушная батарея. И солдатики в обмотках и тяжелых башмаках, вооружившись сетками, зашагали по колено в воде, вдохновенно выуживая отупевшую рыбу. От зноя спины взопрели, тонкие, юношеские шеи под расстегнутым воротом гимнастерок темнеют крестьянским загаром. И только чуть-чуть крупные, тяжелые, но приплюснутые носы галльских, франкских и южных хлеборобов свидетельствуют о том, что это Европа, Запад, Франция, первая ночь католической церкви, а не православная, хозяйственная, кондовая Русь, согнанная из деревень мудрым начальством для борьбы с исконным врагом.

А рыба, между тем поднятая из воды, страдала, с упреком раззевала рот и грозно-жалостливо обозревала безоблачно-

ное небо: неизгладимое, романское, благоухающее небо Парижа.

Я спешил на собрание правления "Круга" и явно опаздывал: никак не мог оторваться от мудрой толпы, от этого исторического детского сада, от волшебного сияния чужой и благодатной стихии. (Впрочем, потом, когда бедствия захватили народ всерьез, толпа начала разыгрывать свою роль по классическим образцам: за день до прихода немцев я у метро Конвансион пережил нечто напоминающее "Казнь" Верещагина.)

Итак, я спешил на собрание "Круга", но не попал туда — завертелся в общем героическом и праздничном вихре. В парке, перед дулом одного противоздушного орудия, торчала ветвь молодого деревца: ее собирались уже отпилить. Но солдатик вдруг догадался и торопливо подвязал бечевкою ветку, так что зелень больше не мешала панораме. (Даже стройный фельдфебель блаженно улыбнулся, радуясь спасению невинного деревца). Где ты, милый пуалю из Ланд или Прованса? Кто через год сбросит твой окоченевший труп в тесную немецкую могилу? А, может, ты убежишь из плена и станешь героем черного рынка, уверяя, что не стоит воевать за евреев и иностранцев?

Уже с самого начала войны мы сразу как-то магически закружились. Личная и деловая жизнь претерпевала коренные изменения. Многие были мобилизованы или записались добровольцами, другие ожидали повестку с вызовом в армию и чувствовали себя настоящими рекрутами. Менялись условия работы, и открывались новые сексуальные возможности; семьи перетасовывались, как картинки в колоде карт. А интеллектуальные встречи становились все реже и жиже: музы смолкают в обществе пулеметов.

Но Фондаминский затеял новый кружок — франко-русский. Там эмигрантские "генералы" должны были спорить с французскими *intellectuels*. Из последних я знал только Габриель Марселя, ставшего вскоре вождем католического экзистенциализма. Нас, молодых, Фондаминский за недостатком места не пригласил. Я счел это оскорблением и

явился на первое собрание непрошеным. Фондаминский только вздохнул, впуская меня.

Когда я пожаловался Федотову, он, понимающе посмеиваясь, сказал:

— Он и со мной так поступает. У Ильи Исидоровича для каждого особый бал. Вам, скажем, дается десять, а мне двенадцать, вот и вся разница.

Эти собрания не оправдывали моих надежд, и я перестал их посещать. Бердяев говорил о национальной душе. Габриель Марсель (и еще кто-то из Сорбонны) возражал очень трезво:

— Все это очень мило и интересно, однако, мы теперь находимся в состоянии войны с безжалостным врагом и должны его победить любой ценой.

Такого рода практические речи производили нехорошее, скучное впечатление — слишком уж просто и плоско. Несмотря на то, что все мы приветствовали эту войну и считали ее священной, о конкретной победе никто не думал, и общее настроение было вполне апокалипсическое. Можно утверждать, что наученный горчайшим опытом весь русский спектр эмиграции бессознательно ждал катастрофы и в победу не верил. "Да, — думали многие из нас, — солнце когда-нибудь взойдет. Но пока наступает длинная ночь, и надо через нее брести".

21

Наступила зима "смешной" войны, в которой, впрочем, ничего забавного не наблюдалось. Новый, 1940 год я встречал у Федотовых. Из наших старших пришла только одна мать Мария. Фондаминский обещал заглянуть, но застрял по пути. Была еще семья Ольденбургов с Зоей, тогда скромной лицеисткой, а теперь знаменитой французской писательницей. Мы с женой привели еще кого-то с Монпарнаса — для девиц. Водка, вина. И селедка, салаты, винегреты, ветчина — все, как полагается, но радости не было. Эта встреча Нового года, скорее, походила на похороны. Мы крепились, старались по-обычному шуметь, веселиться, пели, произносили патриотические речи, чокались. Но что-то не клеилось: наше

нутро знало некую правду, которую сознание отказывалось принять.

Для многих это был последний год во французском Париже, а для некоторых, вообще, последний год жизни. И мы хоронили старую, прекрасную, нищую, творческую галло-русскую жизнь и заодно с нею блистательный европейский гуманизм. Навстречу нам шагали неоканнибалы, неокаины, неопрIMITивы. История кружила по спирали. Герцен так описывает встречу Нового, 1852 года: "Подали обычный бокал в двенадцать часов — мы улыбнулись натянуто, внутри были смерть и ужас, всем было совестно прибавить к Новому году какое-нибудь желание. Заглянуть вперед было страшнее, чем обернуться".

У нас в полночь Георгий Петрович заставил себя произвести спич с обычным в таких случаях условным пафосом. Затем говорила мать Мария. Повязанная черным платком, болезненно румяная, курносая, русская, она все же походила на св. Терезу испанскую. Не помню, что она сказала, но особого оптимизма она тоже не проявила.

Кое-как, то увязая клювом, то хвостом, перевалили через эту "смешную" зиму и заплатили с трудом весенний квартирный "терм".

В Париже по-обычному расцвела сирень. В сумерках газовые фонари бросали зеленый свет. Жизнь торжествовала, и аборигены перестали таскать с собою противогазы в нелепых коробках.

А 10 мая немцы прорвали фронт у пресловутого Седана и ринулись к морю. И денька через два-три все обыватели догадались, что война почти проиграна: Париж будет сдан.

В гараже, у метро Пастер, на соломе, уже спали беженцы из Лилля... До чего похоже на вшивые русские вокзалы или на общежития времен испанской кампании. Вообще, в бедствиях народы становятся похожими друг на друга. Это только удача и богатство развивают в них гордую спесь.

После долгого перерыва я отправился к Фондаминскому собрать нужную информацию: в конце концов, эти ветераны катастроф имеют связи и должны знать досконально, к чему теперь надлежит готовиться.

У Ильи Исидоровича днем в освещенной весенними лучами солнца столовой я застал Соловейчика, Ивановича и еще несколько такого толка знакомых. Они были углублены в странное занятие: сверяли по спискам имена разных людей, преимущественно, зубров. Как я понял из дальнейшего, Керенский еще в начале мая отправился в комиссариат полиции 16-го аррондисмана и сделал заявку на пропуск из Парижа для "всей группы".

После объявления войны иностранцам, разумеется, было запрещено разъезжать по Франции без особого позволения. И теперь Соловейчик отправлялся в участок получать желанные свидетельства, решив предварительно сверить по списку имена зарегистрированных, ибо некоторые воспользовались уже другими оказиями и давно смылись.

Фондаминскому не пришло в голову включить кого-нибудь из нас, молодых, в эти списки; позже прислали из Америки "чрезвычайные" визы опять-таки только для уже известных всем, заслуженных деятелей.

Между прочим, я именно в эти дни старался выпроводить свою беременную жену из столицы и не мог получить *sauf conduit*. О себе, разумеется, в смысле разрешения на выезд я не беспокоился.

Однако Фондаминский с умеренной заботливостью меня спросил:

— А вы что собираетесь предпринять?

В понедельник, 10 июня, под вечер, я очутился у Федотовых. Кажется, я пытался включить жену в караван друзей, покидающих Париж легально.

Оказалось, что Георгий Петрович не успел еще получить своего пропуска и собирался завтра смотаться к Фондаминскому за документом. Я советовал выезжать пораньше, поездом, не взирая уже ни на какие комиссариаты и не теряя драгоценного времени:

— Выйдите на улицу и понюхайте пустые улицы, — сказал я, — вы поймете, что ворота города открыты.

Это выражение понравилось Е.Н. Федотовой, и она, в сердцах спора с мужем, повторила:

— Вот именно, выйди и понюхай! Никаких удостоверений больше не надо.

На этом мы расстались. На следующий день мне удалось усадить жену в поезд. Сам я выехал всего только на день позже, 12 июня. 13-го, к вечеру, немцы были уже у застав Парижа.

В Пуатье многие русские высадились, в сущности, мы не знали, что происходит. Мне все еще мерещилось, что на Луаре будет оказано сопротивление: новые армии займут левый берег, и мы все выполним свой долг. Это отсутствие правильного понимания обстановки, вероятно, стоило жизни многим милым людям.

В Пуатье я и семья Гржебиных, к которым меня прибило, потеряли несколько драгоценнейших дней (в течение которых "оптимисты" получали транзитные визы и переходили границу у Ируна). Там, в Centre d'Assueil, я столкнулся с заблудившимся Гершенкроном, ценнейшим сотрудником "Круга", он собирался поселиться в знаменитом монастыре под Пуатье. Всегда болезненный, он теперь был не в меру раздражен и тоже не отдавал себе отчета в происходящем. Как общее правило, никто не мог сразу примириться с мыслью, что Франция капитулирует. Кроме того, увы, наши материальные дела не были в блестящем состоянии. Так, Гершенкрон почти сразу начал жаловаться на мать Марию: они встретились на Лионском вокзале, случайно в толпе. Уезжали Мочульский с Юрой, сыном матери Марии, — она оставалась в Париже. У них у всех были заранее приготовленные билеты вместе с пропусками Керенского. Но Юре не хотелось покидать Париж, и он упросил мать позволить ему остаться. Тогда Гершенкрон, бедняга, купил Юрин билет, заплатив наличными.

— Зачем мне нужен был этот билет! — негодовал он теперь в Пуатье, очевидно, издержав уже последние деньги, — проехали же вы без всяких билетов.

Вот там, в Пуатье, на площади у кафе, где беглецы отдыхали в полдень, общее внимание вдруг привлек странный караван, состоящий из трех дамских велосипедов и одного муж-

ского: чета Федотовых в первой паре, а за ними нордическая, растрепанная блондинка Нина и похожий на алжирца Вадим Андреев. На вокзал они уже не пробрались и весь путь из Парижа проделали на "педалях", в четыре, пять дней — благо подвернулся толковый спутник.

Дороги Франции до колдовства хороши летом; но все же карта Мишлэн пестрит от стрелок "крутых подъемов". Этот пробег на велосипедах — и не для осмотра готических замков — был последним спортивным упражнением профессора Федотова. В Нью-Йорке он вскоре заболел коронарным тромбозом, от которого впоследствии и умер.

Там, в Пуатье, мы опять попрощались; Федотов побежал в винную лавку и вышел оттуда неловко вертя в руке, сам ей удивляясь, какую-то необычайной формы пузатую бутылку ликера. Нина делала нелестные замечания, очевидно, не одобряя покупку.

Они решили отправиться на запад, к Ла Маншу, а не на юго-запад, где обосновался за Бордо Фондаминский. Андреевы и Сосинские теперь проживали на острове Рэй, туда направились дамские велосипеды — к самому оплоту будущей атлантической стены.

Эта наша встреча происходила точно в бреду. Да и вся Франция в эти сказочные июньские дни походила на злой вымысел. Шарль де Голль мучительно и медленно перерождался из захолустного полковника в легендарного принца.

А кругом толпа, высохшие горожане, старики, дети — ночью, на земле, на соломе, на траве. С близкого шоссе слышен шорох библейской саранчи: это миллионы обывателей брели дальше на юг, неся свои чемоданы и артриты.

Кто помоложе, покрепче, тому было легко: топтал отстающих и пробирался вперед. Утешительно, конечно. Надо только хорошо рассчитать, так, чтобы наибольшие социальные, политические и геологические перевороты падали на тот период жизни, когда мы в расцвете своей биологии, физиологии и духа.

Эти недели, несмотря на все лишения, остались в памяти многих из нас, как лучшая пора отпуска, каникул, освобо-

ждения от городского плена. Закусывая у фонтана галло-римской эпохи, попивая теплое вино в обществе находчивых и понятливых южан, не трудно было еще благословлять юг, Францию, жизнь! Но людей, вынужденных проходить через такого рода испытания в Польше, Бельгии или Манджурии, я воистину жалею. Какая несправедливость в судьбе народов, даже если предположить, что основные грехи — жадность, глупость, похоть, зависть, гнев — те же, приблизительно, повсюду.

В самом деле, может ли что-нибудь заменить пейзаж латинской Европы, ее климат, позволяющий не только заниматься живописью круглый год, но и собирать два-три урожая картофеля? (В таких землях не может быть хронического, регулярно повторяющегося голода, как, помните, в России, все равно — татарской, царской или социалистической). А снег и метель оставим для зимнего спорта: месяц в году. Ведь сама Татьяна, владевшая несколькими сотнями душ, все-таки не могла объяснить, почему она любит крещенские морозы; есть у меня думка, что если бы ей удалось вырваться и очутиться "под небом вечно голубым", то она, пожалуй, стала бы невозвращенкой. (Пушкину безоговорочно отказывали в заграничном паспорте; Гоголю и Тургеневу в этом смысле повезло.)

22

А через год Федотовы прикатили из Парижа в Марсель получать американскую визу, оттуда они мне прислали длинное письмо в Монпелье, давая разные практические советы и обещая свою помощь.

Нужные пароходы шли редко. Елена Николаевна очень беспокоилась за судьбу мужа. Так что Федотов сел на первое подвернувшееся судно и таким образом сразу попал в лагерь в Африке (под Дакаром).

Моя жена, бывшая в то время в Париже, рассказывала мне потом, что Фондаминский опять уже мотался по разным собраниям и довольно часто посмеивался над незадачливым профессором:

— Вот Федотов убежал отсюда в Африку и там попал в лагерь! Подумайте, в Африке! А мы еще здесь, здесь еще можно работать!

Когда я с семьей добрался, наконец, до Нью-Йорка, в июле 1942 года, на пристани нас приветствовала Е.Н. Федотова, вручила мне 20 долларов, собранные среди друзей; в этот первый год второго изгнания мы еще часто встречались. Но особой близости уже не было. Точно всем было стыдно за какие-то лишние слова, сказанные впопыхах. А слов чужих и лишних произнесено было много.

В Америке всем нам предстояло выдержать еще раз экзамен... Задача заключалась в том, чтобы сохранить личную классификацию при общей ревизии ценностей. И впервые за мною не было ни кружка, ни общества, ни другой объединяющей силы. Тут были свои бонзы и обер-офицеры, требовавшие уважения и даже почитания. Литературный стиль здесь царствовал, по наслышке, напоминал Ригу, а теперь хлынули "европейцы" и, разумеется, число обиженных или недовольных становилось с каждым днем больше.

Георгий Петрович, конечно, примкнул к "Новому Журналу", но не было Фондаминского, и Федотов должен был себя там чувствовать одиноким, как белая ворона.

Статьи Федотова, его выступления меня беспокоили. Я выехал из Франции, когда раздавались первые артиллерийские залпы по Сталинграду и вся Европа опять прислушивалась к шуму битвы на поле Куликовом. Все знали: там теперь решается судьба гуманистического наследства. Сталин, не желая этого, защищал Ерусалим, Афины и Рим.

У марсельского консула я встречал беженцев, с ужасом и надеждою осведомлявшихся у меня:

— Как вы думаете, отстоят Севастополь?

Случилось так, что американская администрация, опасаясь провокаций или шантажа, ввела новое правило, по которому лица, родившиеся на территории, уже захваченной немцами, не могли получить визы. В результате пышно расцвели фабрики фальшивых метрических и других свидетельств. Так что австриец, осведомлявшийся, отстоят ли русские Крым,— мес-

то его нового рождения — был кровно заинтересован в утвердительном ответе.

Не только Севастополь или Россию отстаивали тогда советские народы, но все, что было в мире униженного или преследуемого. И молитвы святых, равно как слабых, грешных жертв или героев, были тогда с Россией, за Россию, опять святую, великую, в последнем стремительном броске всегда исправляющую свои ошибки, искупающую вину в братском союзе с просвещенными державами Европы.

Так было во времена татар и Карла шведского, шедших покорять весь мир. То же случилось с Наполеоном и дважды на нашей памяти против немцев. Всякий раз Россия, необъяснимым чудом подстрекаемая ангелом или архангелом, в последнюю минуту выпрямлялась и занимала свое ответственное место рядом с традиционно-христианскими, гуманитарными народами. (В частных и более мелких случаях князя, цари и комиссары, увы, грешили и даже очень.) И это повторится опять, завтра, в решительной схватке с китайцами или марсо-венерическими полчищами...

Ночью я шагал по безлюдным улицам Монпелье, подметаемым резким морским ветром. Я возвращался из кафе, где играл в шахматы с испанскими эмигрантами. Восток прояснялся и, казалось, вспыхивал от многочисленных взрывов тяжелой артиллерии. Я почти ощущал эти далекие удары, а от воздушных воронок начинал задыхаться. Чудилось в небе: вот огромная, вставшая на дыбы кобылица, отбивающаяся передними копытами от стаи волков, огрызающаяся и жалобно ржущая в снежной степи... она осторожно пятится к Волге, а лицо кобылицы прекрасно и из ноздрей вырывается пламя!

В таком настроении мы отплывали в Новый Свет. А Федотов позволял себе оставаться при особом мнении, как в пору Мюнхена. Впрочем, спор шел не о настоящем, где нам предстояло бороться и во что бы то ни стало победить. Этого он не отрицал; расхождения начались в связи с будущим — гадким и постыдным, по утверждению Федотова.

Нам представлялось, что после такого светлого подвига в

паре с Европой что-то неминуемо тронется с места, сдвинется, даже в сталинской Руси. СССР вернется по праву в Европу, и Европа опять сольется с Россией.

Именно это Федотов желчно отрицал. Он умолял, грозил и проклинал. По его вещему слову, как я уже писал, Россию надо всячески удерживать за пределами Европы, не пускать ее дальше исторических границ: иначе, конец западной культуре!

По мнению Федотова, даже этнический тип русской толпы в больших городах уже изменился, судя по кинорепортажам и снимкам в журналах. Азия изнутри перерождала Россию — пожирала часть Европы.

Споры такого порядка, в то время как близкие нам друзья умирали в лагерях, в плену или на поле брани, порождали чувство гнева и даже вражды.

Мы с Георгием Петровичем жили на одной улице, Вест 122, рядом с теологической семинарией, где он преподавал. Он был уже очень болен и часто отлеживался или отсиживался неделями в своей комнатухе, похожей на келью, только с остатками вечного, неприбранного чая.

К тому времени из Мюнхена прибыла чета И., которым Федотов усиленно помогал устроиться, и они все быстро подружились. Федотов часто выводил И., протезировал ему, возвращался поздно ночью и, видимо, уставал.

Объяснялось это, главным образом, жаждой учеников. В России к словам Георгия Петровича прислушивались бы два поколения студентов, что и составляет секрет удачи любого властителя дум. От нас, парижских своих друзей, Федотов такого признания не мог ожидать. Наши отношения, всегда, вообще, будь это Бердяев, Шестов или Мережковский, были основаны на обмене: каждый из нас имел свое мнение и норовил его протолкнуть. Получалась здоро-

вая циркуляция, залог живой культуры : give and take ... Одни давали меньше и брали больше, но все участвовали в круговой творческой поруче.

И. был учеником Федотова, и это должно было утешить профессора на последнем этапе жизни. Федотов нашел пащацу для России: Пушкин! "Пушкин — это империя и свобода", — определил он. И ученики повторяли с воодушевлением: "Империя и свобода!"

В Париже я однажды спросил Федотова: "А что если империя входит со свободой? Клеветникам России, Гавриилада — что делать с этим хламом?" Впрочем, относительно Польши Георгий Петрович отвечал не колеблясь: "Это наш грех!"

Изредка в сумерках я встречал одиноко бредущего Федотова: он шел в сторону Амстердам Авеню в дешевый ресторан, а затем в темное, полунегритянское синема — ныне уже разрушенное. Мы беседовали несколько минут у моего крыльца, точно на бульваре Сэн Мишель.

Федотов:

— То, что вы находите у апостола Павла элементы гностицизма, это хорошо. Вот если бы их было много, тогда плохо.

Я указывал на то, что в бл. Августине больше манихейской ереси, чем в Тертуллиане-монтаниской.

— Тут важно направление. Первый шел от ереси к церкви, а второй, наоборот, удалялся, — объяснял Георгий Петрович и смеялся моему замечанию: "Мне все "африканцы" напоминают Дзержинского".

В те годы в "Новом Журнале" еще печатался мой "Американский Опыт"; и все, что было бездарного в нашей эмиграции, ополчилось против него. Георгий Петрович был одним из моих немногочисленных заступников. После выхода в свет очередной книжки журнала Марья Самойловна Цетлин приглашала к себе от имени редакции всех сотрудников для обсуждения изданного номера. Как полагается для истинных демократов, меня, автора большого, спорного романа, она не приглашала.

В отсутствие Яновского многоуважаемые и бездетные зубры уже ничем не стеснялись. Так что бедный редактор

М. Карпович вынужден был даже на время приостановить печатание "Американского Опыта", пропустив один или два выпуска. Атаки против меня велись, главным образом, под знаком американского "патриотизма", и обвиняли меня в сочувствии к фашизму.

Только благодаря Федотову и еще нескольким доброжелателям, кажется, Извольской и Александрову, Карповичу удалось довести роман до конца. Надо отметить, что со смертью моего старого знакомого М.О. Цетлина стало легче вести дело с редакцией "Нового Журнала", то есть с М.М. Карповичем.

— Это наша принципиальность тому виною, — невесело улыбаясь, поучал Федотов, — наше несчастье — принципиальность русской интеллигенции. Эта принципиальность делает из культурных, благородных людей цензоров и жандармов. А Карпович пришел из совсем другой среды.

Как-то в самом начале моего пребывания в Нью-Йорке я отправился на вечер "приехавших из Европы"; когда собрание кончилось, мы все застряли у вешалки по вине Георгия Петровича.

— Что, калоши ищете? — пошутил я. (По свидетельству Н. Федотовой, отец ее в Новом Свете первым делом побегал и купил себе калоши, напоминающие треугольник.)

Но оказалось, что Федотов потерял номерок и не может объяснить, как выглядит его пальто. Пришлось дожидаться, пока народ разбредется; да и тогда Георгий Петрович воспринял свое пальто с долей недоверия, ибо он именно в это утро получил его в дар от какого-то благотворительного общества и не успел толком разглядеть. Анекдоты с одеждою — не случайность в жизни Федотова, они преследовали его до самого гроба, поэтому я о них упоминаю.

По болезни Георгий Петрович часто пропускал занятия в институте богословия. Его непосредственный начальник о. Флоровский, единственный современный, крупный русский теолог, вышедший из среды иереев, а не бывший "интеллигент, писатель, общественный деятель", человек желчный и обиженный "разными Бердяевыми", почему-то не доверял болезни Федотова, во всяком случае, не проявлял особой неж-

ности и грозился его исключить. На этой почве между ними даже возникали распри, ничего общего с патристикою не имеющие. Так что, когда о. Флоровскому пришлось отпевать Георгия Петровича, то некоторые восприняли это как временное торжество врага.

В Си Клиффе собрался очередной съезд, кажется, студенческого движения. Я поехал туда, рассчитывая встретить многих старых друзей. Был жаркий, летний день, и я остановился у ресторанчика над заливом. За соседним столиком сидел В.Г. Терентьев, тоже освежаясь каким-то холодным напитком. Это он мне сообщил: "Вчера в госпитале скончался Федотов".

Из всех участников съезда наиболее удрученным и даже растерянным выглядел М.М. Карпович: в недалеком будущем ему предстояло последовать за Георгием Петровичем.

Тогда же, в Си Клиффе, я познакомился с одним из бывших учеников Федотова, о. Александром Шмеманом, с которым потом уже часто встречался в нашем философско-религиозном кружке. Таким образом, культурная преемственность оказалась установленной.

Судя по последним письмам Федотова к жене, он ушел от каких-то знакомых, где отдыхал летом, в местную, маленькую больницу: "Благодаря Синему Кресту здесь почти бесплатно, и уютно, и чисто, и тихо"...

— Под вечер, — рассказывала медсестра, — он сидел на диване в общей гостиной, с книгою и обязательной чашкою чая.

Это был некий чудесный и сложный акт в жизни Федотова: чай и книга — нераздельные. Сестра в последний раз видела его именно за этим занятием: пил глазами и губами, изогнувшись в халате. Когда спустя минут пять она вернулась в залу, Георгий Петрович был уже мертв.

Оставалось перевезти тело в Нью-Йорк и похоронить. Этим занялся один из новых друзей Федотова, Зубов, не знавший основных фактов биографии Георгия Петровича. Комнатка, где ютился профессор, при теологическом институте, оказалась запертою, а ключ застрял где-то в вещах покойного; между тем, похоронное бюро настаивало на том,

чтобы усопший был облачен в черную пару (как говорится, dignified). И местный друг Федотова, ничтоже сумняшеся, купил в магазине готового платья новенький темный костюм для покойного. По американскому обычаю, ему подкрасили щеки и губы; в гробу, посредине собора (на Ист Второй улице), Федотов полулежал, как-то неосновательно, почти порхал. Я знал, что за последнюю четверть века Георгий Петрович ни разу не обзавелся новым платьем по мерке. И было больно смотреть на этот нарядный пиджак, в котором его собирались хоронить.

Для героической молодежи современной России, отталкивающейся от черных сотен прошлого и будущего, статьи Федотова, изданные отдельной книгой Чеховским издательством в Нью-Йорке, могут явиться почти откровением. В самом деле, демократия уже торжествует в Европе десятки лет и социализм тоже. А Нового Града не построили. Ибо основная предпосылка равенства личностей — их божественное начало — отсутствует.

А что если в рамках Новой России соединить христианство с формальной демократией?..

ИСКУССТВО ЗЕМЛИ

В наш век урбанизации и беспредметности, где утрачена связь с миром природы, где господствуют синтетические скульптуры и холодные геометрические конструкции, появляется искусство, именуемое себя искусством земли. Это авангардное направление называет скульптурами недолговечные сооружения из груд камней и куч песка. Художники земли копают грунт, роют траншеи в пустыне, воздвигают песочные пирамиды, увековечив акт творения в фотографиях и документах. Но отвергнув форму как художественную истину, отказавшись от "объекта искусства" во имя чистой идеи, художники этого направления — как это ни парадоксально — возвратились к природе, к утраченному естеству нерукотворных вещей...

В идейно-философском плане, эти художники, отрекшиеся от урбанистической культуры и отдавшие предпочтение естественным материалам, подобны художникам эпохи Романтизма, обратившимся к пейзажу как к высокому, главенствующему жанру, или предтечам импрессионизма, выведшим искусство из пыльной студии на открытый воздух, на "пленэр". В работах художников земли остро и непреодолимо чувствуется присутствие природы.

Думается, что искусству земли в его израильском варианте — в отличие от американского — чужда неоромантическая, неоромантическая идея бегства от городской цивилизации. Для израильского искусства в целом характерна связь с окружающей средой, с тем особым ландшафтом, светом, освещением, которые определили специфические цветовые и пластические решения местных мастеров.

Для израильского художника, лишенного художественной традиции, связь с окружающим миром, с природой была более существенной, чем для художника другой страны. Недаром за школой художников старшего поколения укрепилось название "искусство израильской Земли". Не указывает ли оно на интимность связи художника со своей вновь обретенной землей?

Поразительно, что среда и атмосфера этой необычной местности неотвратимо довлеют даже над теми художниками, которые по своему философскому и художественному мировоззрению склонны ниспровергнуть фигуративное искусство как таковое. Сама Земля, в необработанном, "сыром" виде, как она есть, с пустотой бесконечности, с особыми визуальными символами и архетипами, историческими и теологическими связями, мифами и ритуалами — уже есть искусство... Потому, как кажется, достаточно весьма точной, реалистической, порой даже натуралистической, интерпретации этого уникального

естественного материала для создания самых ультраавангардных творений.

Так, минималист Гросс пишет на своих холстах бескрайнюю, бесформенную пустоту — пустоту реальности; Дани Караван создает свои конструкции по пластическим моделям природы Средиземноморья; Менаше Кадишман использует местную флору и фауну для концептуальных экспериментов, и, наконец, Игаль Тумаркин черпает свои художественные решения из тем израильской земли.

Не потому ли, что Земля неустанно поставляет "авангардный" материал для художников разных школ — классическое искусство земли американского типа в Израиле в основном малооригинально и банально? Исключение, пожалуй, составляет проект реки в Иерусалиме.

Замечательна идея проекта — воссоздание бесследно исчезнувшей из иерусалимского ландшафта реки, упоминающейся в библейских источниках, ставшей иллюзией, навязчивым миражом в коллективном сознании людей.

В отличие от художников-концептуалистов, проектировавших Иерусалимскую реку, одна из самых одаренных художников молодого поколения — Далия Меири — создает свое "искусство Земли" по другим принципам. Родившаяся и живущая в кибуце на лоне природы, Далия конструирует свой миф из найденных в природе вещей. Технический прием поп-арта — готовый, найденный объект — здесь применен не в контексте массовой культуры, а, напротив, по отношению к сельской, первозданной природе.

Найденные объекты Далии — причудливые каменные глыбы, железнодорожные столбы, части сельскохозяйственных орудий — камень, дерево, железо, солома. Эти предметы либо непосредственно взяты из самой природы, либо обработаны, грубо и примитивно, мастером-ремесленником. Но какими бы они ни были, объекты несут на себе печать времени: покрытые ржавчиной, поросшие плесенью, подвергшиеся разрушению, они передают ностальгию по старому, "природному" укладу жизни, по ручному труду и мастерству, по безвозвратно утраченному утопическому Раю еврейского поселения Палестины.

Далия Меири отличается от классического типа "художников Земли" и тем, что не оспаривает традиционные понятия об эстетике и форме. Скульптурная, монументальная форма — основной критерий отбора найденного объекта. Более того, готовый объект не используется в его застывшей форме, а komponуется, совмещается с другими объектами в единую, эстетически законченную, скульптурную композицию. Грубоватые сельские материалы, шероховатые поверхности пластичны и красивы, как по-своему изящна и элегантна утварь, выполненная в стиле деревенского дизайнера.

Однако несколько стилизованная эстетика объектов Далии Меири отнюдь не исчерпывает содержания ее искусства. Отправная точка ее

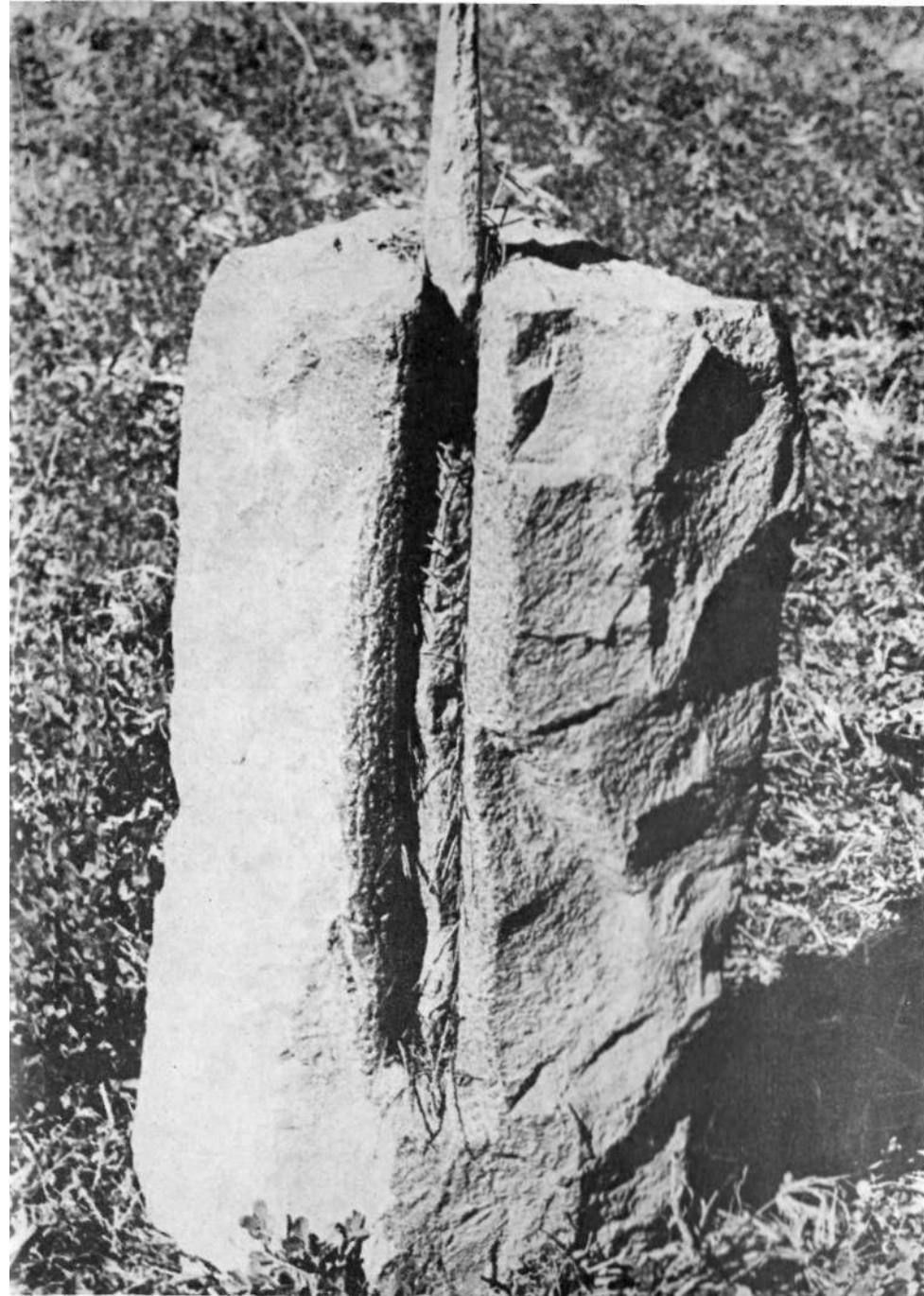
"искусства Земли" — миф, ритуальное действие, эротическая аллегория, женская символика. Огромные, возвышающиеся каменные глыбы, то округлые, то режущие, острые, несомненно эротические символы присутствуют в каждой скульптуре. Символика камня у Далии — как и в фольклорных мифах ранних культур — двойственна и амбивалентна.

С одной стороны, голый, плоский камень, лишенный растительности, символизирует бесплодие, стерильность и смерть. Ритуал смерти и похорон особенно четко прослеживается в работе Далии, сконструированной из лежащих, обернутых в ткань, пластах земли, напоминающих египетские мумии.

С другой стороны, камень и Земля символизируют эротическое начало, плодородие, жизнь. Так, в одной из конструкций формы каменных глыб напоминают самку некоего ритуального животного, кормящего своего звереныша. Ниши в камне, походящие на материнскую грудь, выложены соломой, растительностью, сменяющей стерильность камня.

Ритуал, миф проникли в искусство Далии Меири не в результате изощренных интеллектуальных упражнений, а как следствие ее непосредственного, интимного контакта с Землей, где камень это не просто скульптурный материал, а предмет ритуала, сакральный символ, тот самый краеугольный, животворящий камень, заложенный в Сионе, по свидетельству послания Апостола Петра.

Наталья АГРОСКИН



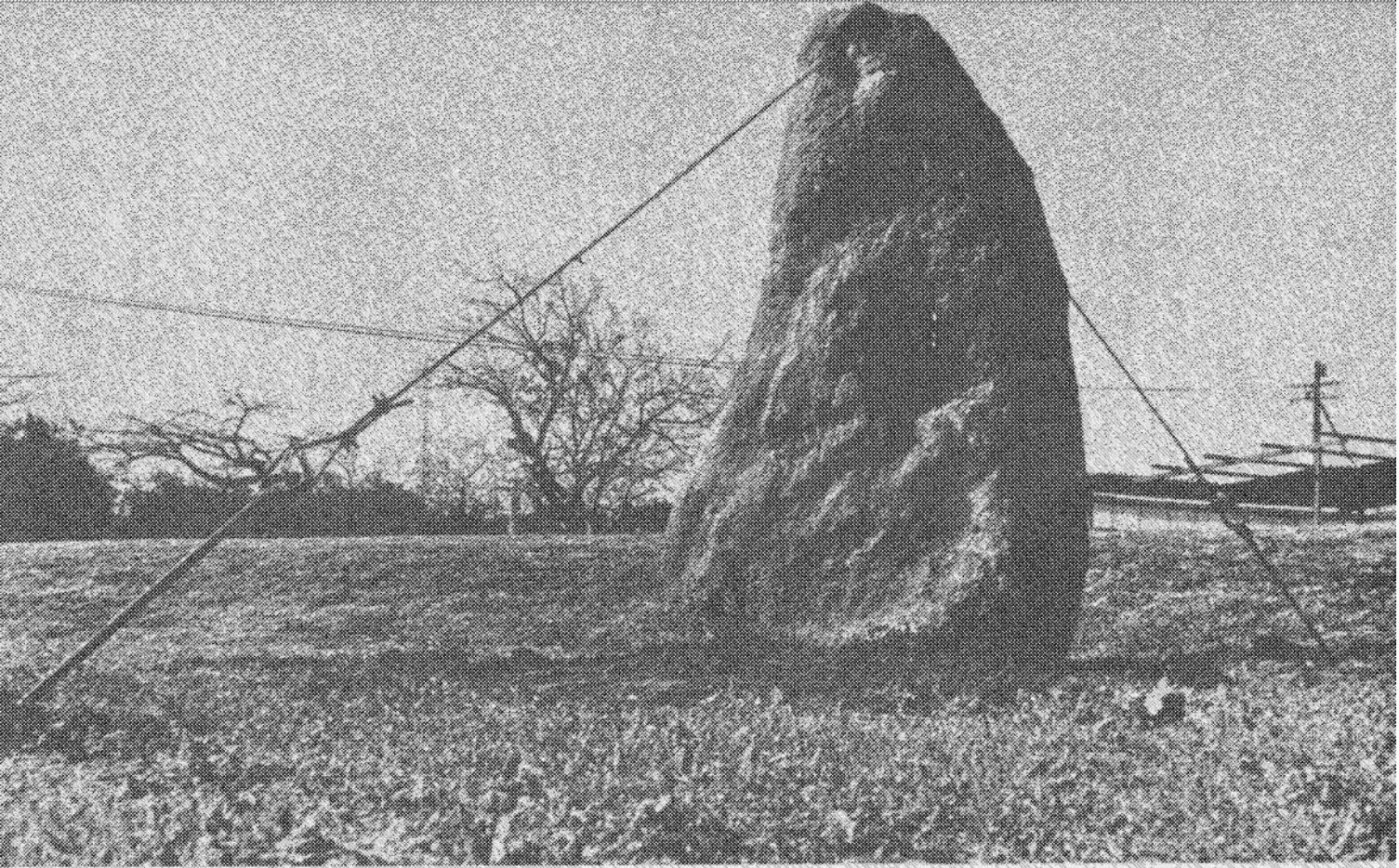
Базальт и солома



Базальт и гвозди



Дерево, базальт и болты



СЗЕМЛЮ И СТАЛЬНОЙ ТРОССЕ



ДЕРЕВО, ЗЕМЛЯ И ОСЛОМ

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Александр ТУЧКОВ. По образованию художник. Окончил институт в Ленинграде. Несколько лет назад эмигрировал в Соединенные Штаты Америки. Живет в Нью-Йорке, работает ночным сторожем.

Аркадий ЛЬВОВ. См. журнал № 38.

Лия ВЛАДИМИРОВА. См. журнал № 26.

Борис ШРАГИН. Родился в 1926 году. В 1949 году окончил философский факультет Московского университета и в 1966 защитил кандидатскую диссертацию. Работал учителем, преподавал философию в педагогическом институте, с 1958 года — научный сотрудник Института Истории Искусств. Автор многих работ по эстетике, теоретическим проблемам современного искусства и истории культуры. В 1968 году исключен из партии и уволен с работы за участие в правозащитном движении. Статьи его широко известны в Самиздате. С 1974 года живет в США,

Дора ШТУРМАН. Филолог и историк. Родилась в 1923 году на Украине. В 1944 году была осуждена на пять лет за исследование творчества нескольких советских поэтов, связанное с рассмотрением некоторых сторон советской действительности. После освобождения закончила университет и преподавала русский язык и литературу. Одновременно продолжала заниматься исследованиями ряда фундаментальных проблем советского строя. В настоящее время работает в Иерусалимском университете. В Израиле — с начала 1977 года.

В.С. Яновский. Писатель. Родился в 1906 году в Полтаве. В эмиграции с 1921 года. Окончил Парижский университет (медицинский факультет). Во Франции жил с 1926 по 1942 год, после чего эмигрировал в Америку. В Париже участвовал во многих литературных демократических кружках и изданиях. Сотрудничал в "Последних Новостях", "Современных записках" и др., где в то же время печатались Ремизов, Бунин, Набоков, Ходасевич, Мережковский. Автор 14 книг, переведенных на несколько иностранных языков — "Колесо", "Портативное бессмертие", "Американский опыт", "Кимвал бряцающий" и др. Творчество В.С. Яновского получило высокую оценку в газете "Нью-Йорк Таймс".

Белла ЕЗЕРСКАЯ. Родилась в 1929 году в Одессе. Закончила Одесский университет, филологический факультет. 14 лет работала в областной библиотеке, потом — литсотрудником многотиражной газеты. Публиковаться начала с 1959 года в одесских областных газетах, затем — в киевских газетах и журналах ("Радуга", "Украинский театр") и в московских изданиях — журнале "Театр", "Литературная газета", "Литературная Россия", "Труд". Была членом Союза журналистов СССР и Украинского театрального общества. Эмигрировала в 1977 году. В настоящее время живет в Нью-Йорке.

Петр ВАЙЛЬ, Александр ГЕНИС. См. журнал № 31.

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА АРДИС

- АХМАТОВА, А. Поэма без героя. (1978). 3.50
Подорожник (1976). 2.50
Анно Домини (1976). 3.50
БЕЛОЗЕРСКАЯ, Л.Е. Воспоминания о М.А.Булгакове. (1979). 3.95
БИТОВ, А. Пушкинский дом. (1978). 412 стр. 8.00
БРОДСКИЙ, И. Часть речи. (1977) Конец прекрасной эпохи. 3.95 кажд.
БУЛГАКОВ, М. Дьяволиада. (1976). 3.-65
Неизданный Булгаков. (1977). 5.00
ВАГИНОВ, К. Стихи. (1978). 2.50
ВОЙНОВИЧ, В. Иванькиада. (1976). 3.95
ГАЗДАНОВ, Г. Вечер у Клэр. (1979). 4.50
ГИППИУС, З. Письма к Ходасевичу и Берберовой. (1978). 3.00
ГЛАГОЛ, Альманах, выпуски 1 и 2 (1977, 1978) 3.95 кажд.
ГУМИЛЕВ, Н. Огненный столп. (1976). 3.00
ДОВЛАТОВ, С. Невидимая книга. (1978). 3.50
ЗАМЯТИН, Е. Нечестивые рассказы. (1978). 3.95
Наводнение. (1976). 2.50
ИСКАНДЕР, Ф. Сандро из Чегема. (1978). 610 стр. 8.95
КОПЕЛЕВ, Л. И сотворил себе кумира. (1978). 335 стр. 7.95
Хранить вечно. (1978). 702 стр. 8.95
Вера в слово. (1977). 64 стр. 3.00
КУЗМИН, М. Форель разбивает лед. (1978). 3.95
МАНДЕЛЬШТАМ, О. Египетская марка. (1976). 3.95
НАБОКОВ, В. Камера obscura. (1976). 6.00
Весна в Фиальте. (1978). 6.00
Отчаяние. (1978). 6.00
Соглядатай. (1978). 6.00
Король, дама, валет. (1979). 6.00
Другие берега. (1978). 6.00
Лолита. (1976). 5.00
Возвращение Чорба. (1976). 5.00
Стихи. (1979). 3.95
Подвиг. (1978). 5.00
Машенька. (1978). 4.00
Приглашение на казнь. (1979). 6.00
Защита Лужина. (1979). 6.00
ОЛЕША, Ю. Зависть. Илл. Альтмана. (1976). 3.95
ПАРНОК, С. Собрание стихотворений. (1979). 388 стр. 5.00
ПАСТЕРНАК, Б. Сестра моя жизнь. (1976). 3.95
ПЛАТОНОВ, А. Шарманка. Пьеса. (1975). 3.25
ПУШКИН, А. Путешествие в Арзрум. Репринт с изд. Лифаря. 4.00
СОКОЛОВ, Саша. Школа для дураков. (1976). 3.00
УФЛЯНД, В. Стихи 1955-77. (1978). 3.00
ХЛЕБНИКОВ, В. Зангези. Факсимиле. 3.25
ЧААДАЕВ, П. Философические письма. (1978). 3.10
ЧУКОВСКИЙ, К. Поэт и палач. 2.50
ЦВЕТКОВА. Сборник пьес для жизни соло. (1978) 3.95
ЦЕХ ПОЭТОВ, Акмеисты. (1978). 3.00

ОТМЕТЬТЕ НУЖНЫЕ ВАМ КНИГИ. ВПИШИТЕ СВОЮ
ФАМИЛИЮ _____

АДРЕС _____

ВЫРЕЖЬТЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, добавьте к сумме чека 50 центов на
пересылку и шлите заказ по адресу:

ARDIS, 2901 Heatherway, Ann Arbor, Mich. 48104, USA

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ "ВРЕМЯ И МЫ"
1979 ГОД

С 1 февраля 1979 года устанавливаются следующие условия подписки в Израиле: цена годовой подписки (12 номеров) — 780 лир, полугодовой — 432 лиры. В подписную цену входит стоимость доставки и налог на дополнительную стоимость. Годовую подписку оплатить можно в 3 чека, полугодовую — в 2. В обоих случаях последний чек выписывается не позже, чем на март. Заказ и чеки высылать по адресу: ул. Нахмани, 62, Тель-Авив, или п.я. 24123, Тель-Авив.

Чеки можно выписывать по-русски. Прежние условия подписки отменяются.

За рубежом устанавливаются следующие подписные цены:
В США и КАНАДЕ: на 6 месяцев — 24\$, на 12 мес. — 48% (авиапочта — 96).

ВО ФРАНЦИИ: на 6 месяцев — 99 F.FR., на 12 мес. — 198 F.FR. (авиапочта — 350).

В ГЕРМАНИИ: на 6 месяцев — DM 46 (авиапочта — 88) на 12 месяцев — DM 92 (авиапочта — 176).

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И РЕСУРСОВ

Национальный Совет по науке и развитию заинтересован в сотрудничестве с учеными, имеющими проекты, разработки и идеи в следующих областях науки и техники:

Источники воды	Биотехнология
Энергия	Фармацевтика
Пищевая технология	Полимеры и мембраны
Экология	Электротехника
Нефтехимия	Биоэлектроника
Природные источники (включая вторичную обработку)	Градостроительство
Вычислительные машины	Общественные науки
	Прикладная физика

Обращаться по адресу:

Mr Avraham Perry. The Council of Research and Development HAKIRYA, Building "3", Jerusalem
Tel. 02-584478 or 02-639211 (388)
or Institute "MITAR" P.O.B. 30867 Tel-Aviv
Tel. 03-622921(2).

"ВРЕМЯ И МЫ"

1979 год

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ В ИЗРАИЛЕ:

Сроком на 6 месяцев — 432 лиры
на 12 месяцев — 780 лир

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ ЗА РУБЕЖОМ:

В США И КАНАДЕ

сроком на 6 месяцев - \$ 24
на 12 месяцев -- \$ 48, авиапочта — 96

ВО ФРАНЦИИ

сроком на 6 месяцев -- F.FR. 99
на 12 месяцев -- F.FR. 198, авиапочта - 350

В ГЕРМАНИИ

сроком на 6 месяцев -- DM 46
на 12 месяцев -- DM 92, авиапочта - 176

бланк для ПОДПИСКИ на 1979 год на обороте

"ВРЕМЯ И МЫ" - 1979 год

ПОДПИСКА В ИЗРАИЛЕ НА 1979 ГОД

Сроком на 6 месяцев
на 12 месяцев

Журнал высылать с номера.....

Журнал высылать по адресу:.....

Приложен чек.....

Подпись..... Дата.....

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — можно по русски — и высыпается по адресу:

P.O.B. 24123, Tel Aviv ИЛИ **62/9 Nachmarti St., Tel-Aviv**

ПОДПИСКА ЗА ГРАНИЦЕЙ НА 1979 ГОД

Авиапочтой
Обыкновенной почтой
Журнал высылать с номера.....

сроком на 6 месяцев
на 12 месяцев

Журнал высылать по адресу:.....

Приложен чек.....

Подпись..... Дата.....

* Чек выписывается на имя журнала "Время и мы" — можно по-русски — и высыпается по адресу: **P.O.B. 24123, Tel-Aviv, Israel** или **62/9 Nachmani St., Tel-Aviv**



**В ЭТОМ МЕСЯЦЕ У ВАС
ОКАЖУТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАЙМЫ
«БРЕЙРА» ПОГАШАЮТСЯ**

**ПРЕВРАТИТЕ ПОЛУЧЕННЫЕ
ДЕНЬГИ В
ХОРОШИЕ
ДЕНЬГИ**

Запишитесь в одну из программ:

«Коах хай кифлаим»

**«Коах Брейра
долларит»**

Одноразовый взнос

Немедленный бонус в размере 10%
Проценты и прикрепление к индексу
цен основной суммы и бонуса
Все это не облагается налогами

Ежемесячные взносы

Немедленный бонус в размере 5%
Проценты и прикрепление к индексу
цен основной суммы и бонуса
Все это не облагается налогами

Одноразовый взнос

Немедленный бонус в размере 6%
Проценты и прикрепление к индексу
цен основной суммы и бонуса
Все это не облагается налогами

Ежемесячные взносы

Немедленный бонус в размере 3%
Проценты и прикрепление к индексу
цен основной суммы и бонуса
Все это не облагается налогами
В обоих случаях — прикрепление
к индексу цен или курсу доллара —
в зависимости от того, что более выгодно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОДРОБНОСТИ — ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ БАНКА «ЛЕУМИ»,
БАНКА «ИГУД» И БАНКА «АРАВИ-ИСРАЭЛИ».



BANK LEUMI
LE-ISRAEL B.M.

Отвергнутые рукописи не возвращаются, и по поводу них редакция в переписку не вступает.

Издательство "Время и мы", Тель-Авив, ул. Нахмани, 62/9
п.я. 24123, Тель-Авив, 621085.
62/9 Nachmanist. T.-A. Tel. 621085.

Типография "Дерби". Улица Амавдиль, 6. Т.—А.

OCR и вычитка — Давид Титиевский, май 2010 г.
Библиотека Александра Белоусенко

**На четвертой странице обложки:
скульптура Далии Меири, Базальт и дерево.**

